Александр

Соболев

Бухенвальдский набат

**Строки-арестанты**

Москва

ЕКА

1996

Оформление художника В.В.Медведева

ББК 84 Р2 С54

**Соболев А.**

С54 Бухенвальдский набат: Строки-арестанты / Предисл. Т.Соболева. — М.: ЕКА, 1996. — 272 с.: ил.

Александр Соболев — поэт, автор «Бухенвальдского набата», песни, получившей в 60—70-е годы широкое международное признание. Громкая слава произведения уживалась в условиях тоталитарного режима с полной безвестностью поэта, уделом которого стало замалчивание.

Эта книга, по сути, единственно полное, первое и последнее обращение поэта к читателю. Большую ее часть составляют «строки-арестанты», как называл поэт свои неопубликованные стихи.

Инвалид Великой Отечественной войны, живя на положении изгоя, он, «человек с раскрепощенной душой», мечтал видеть народ свободным, до конца дней своих сохранил любовь к природе и ко всему живому.

ББК 84 Р2

© Т.М.Соболева, 1996 г.

4702010202

«ГОВОРЯТ, ЧТО Я СЧАСТЛИВЫЙ...»

Без малодушной укоризны

пройти мытарства трудной жизни,

измерить пропасти страстей,

понять на деле жизнь людей,

прочесть все черные страницы,

все беззаконные дела...

И сохранить полет орла

и сердце чистой голубицы!

Се — человек!

Т.Г.Шевченко

Что знают люди о поэте Александре Соболеве? Ничего. Нет, вроде бы и не было в отечественной литературе поэта, носящего такое имя. Но он был, жил и творил в стране, «разметнувшейся на полсвета», и явное подтверждение тому — эта книга. Она, по существу, первое, и единственно полное издание стихов Александра Соболева — итог его поэтического творчества почти за полвека. Вполне уместно недоумение: почему поэт так долго молчал? Почему так скромно по объему его литературное наследие? Надеюсь, многое прояснит мой рассказ о нем, о его житье-бытье.

Принято считать, что талант — дар Божий. Посмею нарушить традицию и добавлю: талант еще и Божье наказание. Что заставляет так невесело думать? Отвечу: сорок лет я была спутницей человека, отмеченного Божьей милостью — талантом. Настрадалась, натерпелась, разделяя его судьбу. Один острослов сказал довольно метко: поэта Александра Соболева «посадили в консервную банку: куда бы он ни глянул — перед ним была стена. Да еще с надписью: «Не положено!» Сразу возникает вопрос: в чем же это он так крепко провинился перед страной, перед обществом, что его «оградили стеной», и, разумеется, против его воли? Сразу же и отвечаю: не очень-то много найдется людей с равными, что и у Соболева, заслугами перед Родиной. Он послужил ей трижды, и трижды бескорыстно:

в годы молодые — рядовым на фронте Великой Отечественной войны, откуда вернулся пожизненным инвалидом второй группы;

в зрелые годы — талантом поэта, создав в числе других произведение, прославившееся во всем мире, поднявшее престиж страны;

заработанная им за это произведение, размноженное во многих миллионах экземпляров, огромная сумма полностью пошла в госказну.

И несмотря на то, что он отдал стране максимум того, на что способен человек, поэта Александра Соболева почти никто не знает. Ни в списках Союза писателей, ни в иных официальных справочниках имени его не найти. И это тем более странно, что он, повторяю, является автором произведения, получившего международное признание, а на родине поэта, в России, оно известно, пожалуй, каждому. Итак, всемирная слава произведения и — полная безвестность его создателя. «Полно, — возможно, скажет кто-то, — так не бывает...» Бывает, оказывается.

И для того, чтобы объяснить, как все произошло, с чего началось, придется вернуться на без малого сорок лет назад.

В 1958 году у горы Эттерсберг близ Веймара в Германии состоялось открытие мемориала Второй мировой войны — «Бухенвальд». На деньги, собранные населением ГДР, на территории бывшего лагеря смерти возвели башню, увенчанную колоколом. Набатный гул должен был постоянно напоминать людям о недавней трагедии, о жертвах фашизма и войны.

Сообщение по радио об этом событии Александр Соболев услышал в городе Озеры Московской области, где отдыхал летом. А примерно через два часа уже прочитал мне готовые стихи «Бухенвальдский набат». В них он «по праву пехотинца, рядового, калеченного, мятого войной, от имени всего живого» обратился к народам Земли с горячим призывом: зорко стоять на страже мира, добытого страшной ценой — жизнями миллионов людей, предупреждал об угрозе грядущей ядерной катастрофы, звал людей одуматься, остановиться, пока не поздно, пока, «вихрем атомным объятый, стонет океан», но еще не гибнет в пламени ядерных пожарищ все живое на планете.

Понимая, что стихи «Бухенвальдский набат» — творческая удача, счастливый автор посчитал, что место им в «самой-самой» газете страны, а таковой была «Правда». Но там «Бухенвальдский набат» не просто отклонили, но и забраковали. Не стоит, однако, плохо думать о квалификации сотрудников «Правды». Имеющие ученые степени, наверняка толк в стихах знающие, они выпроваживали из редакции скорее не «Бухенвальдский набат», а его автора — никому не известного и уж никак не маститого, не именитого. Они проявляли бдительность: во времена комвсевластия само появление на страницах главной газеты уже означало признание... Думается, открытие нового таланта не входило в задачу ведущего партийного органа. Зачем рисковать — не проще ли указать автору на дверь?

В скромной по тем временам профсоюзной газете «Труд» в сентябре 1958 года стихи «Бухенвальдский набат» увидели свет.

— Пошлите-ка их Мурадели, это в его ключе, может получиться замечательная песня, — посоветовал Александру Соболеву при случайной встрече тогдашний секретарь Союза композиторов С.В.Аксюк.

А несколько дней спустя взволнованный Мурадели говорил поэту по телефону: «Пишу музыку и плачу... Какие стихи!»

Композитор поспешил со своим новым произведением на радио: скорее в эфир, скорее показать песню людям! Но художественный совет Всесоюзного радио... мягко упрекнул Вано Ильича за нетребовательность к тексту, и, только уважая заслуги композитора, рекомендовал песню ну разве что для разового исполнения. «Мракобесные стихи: мертвые в колонны строятся!» — резюмировал общее мнение худсовета один из его членов, очень известный поэт-песенник. И печатные музыкальные органы тоже не спешили обнародовать «Бухенвальдский набат». Песня погибала. Это понимал автор стихов и не мог, не смел допустить ее незаслуженной смерти.

По счастливому стечению обстоятельств появление «Бухенвальдского набата» совпало с подготовкой к Международному фестивалю молодежи и студентов в Вене. Александр Соболев предложил антивоенную антифашистскую песню «Бухенвальдский набат» оргкомитету фестиваля. И песня Мурадели и Соболева поехала в Австрию, где ее исполнил Свердловский хор студентов. На форуме молодежи песню ожидал триумф. Там ее перевели на многие языки, оттуда она отправилась в разные страны. На Родину «Бухенвальдский набат» вернулся в документальном фильме «Весенний ветер над Веной». И тут произошло то, что происходит в нашей стране нередко: на Западе одобрили — теперь и нам весьма по душе... Одним из первых взял для исполнения «Бухенвальдский набат» Ансамбль песни и пляски Советской Армии под управлением Б .А. Александрова. И сразу — поистине «ядерный» взрыв популярности. Нет, это было не просто поголовное увлечение хорошей песней, а всеобщая одержимость, околдованность. Ее успех не укладывался в привычное представление о симпатии к полюбившейся песне, ибо чуть ли не в одночасье она овладела сердцами и душами десятков миллионов ее услышавших. Ее запела вся страна, она звучала повсюду: с концертных эстрад, на певческих праздниках, в домах и на улице, по нескольку раз в день — по радио и телевидению, ее пели самодеятельные и профессиональные хоры и солисты. Ленинградцы поставили балет «Бухенвальдский набат», а самодеятельных театрализаций — в клубах и школах — было не счесть!

Здесь я позволю себе прервать повествование о замечательной песне и ее авторе и сделать необходимое отступление: рассказать о жизни поэта Александра Соболева до сочинения им «Бухенвальдского набата».

Александр Соболев (Соболев Исаак Владимирович) родился 18 августа 1915 года в местечке Полонное на Украине, последним ребенком в еврейской семье. Это была типичная провинциальная малосостоятельная семья, изо всех сил старавшаяся выбиться «в люди».

Когда малолетний сын начал слагать стихи, малограмотный отец спросил у матери: «Чего он там бормочет? Может, показать его доктору?»

Прожив с Александром Соболевым сорок лет, выслушав в разное время его отнюдь не подробные, скорее беглые, отрывочные, не связанные между собой воспоминания о детстве, о довоенной жизни, я догадалась, почему он ни разу не прошел равнодушно мимо кустика зелени, пробившей, приподнявшей асфальт. Всякий раз неизменно замедляя шаг возле такого дива природы, восхищался силой, данной Богом, казалось бы, слабенькому растению, которое в стремлении к свету, к жизни совершает вроде бы невозможное — разрушает придавившую его роковую с виду плиту.

Велик же был талант, отпущенный Богом моему покойному супругу, если в невежественной обывательской среде родительского дома, в годы горького сиротства, бесприютной юности, ранней фронтовой инвалидности не погиб он, не струхлявила его чистая душа, от природы не восприимчивая ни к чему дурному. Победил, «приподнял асфальт», одолел губительный пресс неблагоприятных житейских обстоятельств.

Его литературный дебют состоялся в год окончания школы. На выпускном вечере самодеятельный драмкружок показал спектакль по его пьесе с «архиреволюционным» названием «Хвосты старого быта».

Вскоре умерла его мать. В дом пришла мачеха. И пятнадцатилетний подросток, оставив отчий дом, направился в Москву. В его плетеной дорожной корзинке лежала тетрадь первых стихов и две пары латаного белья. Отец сына не удерживал, дал 30 рублей на дорогу и «обзаведение» и посчитал на этом родительские обязанности исчерпанными.

Жившей в Москве старшей сестре осиротевший брат был в тягость. Ее скептицизм по отношению к его поэтическому дарованию не поколебал даже визит к ней известного в те времена литературного критика (я не запомнила фамилию, которую называл А.В.), усмотревшего в беспомощных стихах мальчика задатки поэта. Младший брат был устроен в школу ФЗУ (на базе средней школы). Окончив ее, стал слесарем, то есть мог сам зарабатывать себе на хлеб насущный.

А потом было так, как и должно было быть, о чем сказал Александр Соболев уже в зрелые годы: «Талант не даст человеку покоя. Не человек выбирает судьбу, а талант ведет его по жизненной колее. Непременно такой путь будет труден, но честен, потому что, чем выше степень таланта, тем более честен им наделенный, тем менее способен он на уступки обстоятельствам, на приспособленчество и предательство».

Молодого слесаря неодолимо тянуло в литературную среду. Сперва это было литобъединение при многотиражке механического завода, где он работал, потом городская газета, куда он приносил пока не стихи, а корреспонденции. И настал день, когда он расстался с цехом, перешел на работу в газету. Но стихов почти не писал. Тогда требовалась литпродукция определенного толка. А у него душа не лежала славить партию большевиков и лучшего друга всех народов после коллективизации на Украине, реализацию которой довелось наблюдать его отцу, успевшему сбежать из родных мест в Подмосковье.

Да и позже, за всю свою жизнь не посвятил Александр Соболев Сталину ни единой строки со знаком «плюс». Учитывая идеологические установки тех лет, допустимо считать, что именно по этим причинам он не утвердился в свое время как поэт, не занял «свою нишу» в довоенные годы.

В 1944 году после ранений и контузий был демобилизован. И сразу же мобилизован на работу в оборонную промышленность, на авиамоторный завод № 45. Сначала работал в литейном цехе, потом был востребован в многотиражку, где почти немедленно организовал сатирическую рубрику «Ведет разговор дед Никанор». «Деда» ждали в цехах, недолюбливали в среде управленцев. Развязка наступила скоро. Новый редактор из партаппаратчиков убрал с полос газеты «деда Никанора» и уволил по сокращению штатов его «родителя». И хотя увольнять инвалида войны по такой статье советским законом запрещалось, партия в образе парткома и райкома оказалась, по обыкновению, выше закона.

Конфликт дорого обошелся бывшему фронтовику. Резко ухудшилось здоровье, последовали почти пять лет странствий по госпиталям. Он завершил эти вынужденные скитания получением справки ВТЭК, где графа «трудовая рекомендация» осталась незаполненной, что означало запрет на любой вид штатной работы.

Во всей своей неприкрашенной реальности обозначилась перед Соболевым перспектива дней, месяцев, возможно, лет изоляции от людей, нескончаемый поединок с недугом, где человеку приходилось порой очень плохо. Только временами болезнь отступала, появлялась жажда деятельности... Но какой? Кто, где ждал его? О газетной штатной работе можно было только мечтать. И не только из-за запрета медиков. В то время, в начале пятидесятых,

О нет, не в гитлеровском рейхе,

а здесь, в стране большевиков,

уже орудовал свой Эйхман

с благословения верхов...

... Не мы как будто в сорок пятом,

а тот ефрейтор бесноватый

победу на войне добыл

и свастикой страну накрыл.

«К евреям Советского Союза»

Инструктор горкома партии, к которому журналист Соболев обратился с просьбой о трудоустройстве в газету, спросил его, пряча улыбку: «Почему бы вам не пойти в торговлю?» Это следовало понимать так: почему бы тебе не заняться еврейским делом и не лезть на престижную журналистскую работу...

Слава Богу, не переводятся на Руси добрые люди. Бывшие коллеги Соболева, газетчики еще довоенных лет, симпатизируя своему доброму, отзывчивому товарищу, тайком (в те-то годы помогать еврею!) давали ему немного заработать (очень кстати: пенсия фронтового инвалида была нищенской), а главное — чувствовать себя в родной среде. Позже в газетах «Труд», «Строительной», «Гудке», «Вечерней Москве» стал он помещать стихи и стихотворные фельетоны. А в 1958 году написал стихи «Бухенвальдский набат». Положенные на музыку Вано Мурадели, в качестве антивоенной антифашистской песни они завоевали международную известность, покорили миллионы людей.

Говорили, что К.Федин так отозвался о полюбившейся всем песне: «Я не знаю автора стихов, не знаю других его произведений, но за один «Бухенвальдский набат» я бы поставил ему памятник при жизни».

«Бухенвальдский набат» — песня-эпоха... И скажу без преувеличения — мир замер, услышав эту песню», — писал в «Советской культуре» Игорь Шаферан.

Как-то раз на аллее в Измайловском лесопарке мы с Александром Владимировичем догнали молодую маму с крошечной девочкой, которую она вела за ручку. Не совсем еще уверенно переступавшая кроха, к нашему величайшему удивлению, пела: «Белегите, белегите мил!» — заключительные слова «Бухенвальдского набата». Ошеломленный, изумленный, замер на месте Соболев. Когда взглянул на меня, в глазах его блестели слезы... Вот это — награда! Это — то самое, от чего у художника вырастают крылья.

Без всякого преувеличения можно сказать: «Бухенвальдский набат» стал неотъемлемой частью духовной жизни нашего общества шестидесятых — семидесятых, начала восьмидесятых годов. И когда оба автора, Мурадели и Соболев, в 1962 году оказались в числе соискателей Ленинской премии — за одну только песню! — случай уникальный в нашей культуре, это было воспринято как должное, как само собой разумеющееся. В сложившейся ситуации у Комитета по Ленинским премиям, казалось, нет выбора: оставалось присоединиться к мнению народов мира и своей страны и увенчать наградой выдающееся произведение.

Однако он решил иначе... И некоторое время спустя Соболеву «посчастливилось» услышать в троллейбусе кем-то громко произнесенную фразу: «А я Евтушенке за «Бухенвальдский набат» Ленинскую премию дал бы!» Может быть, и не стоило обращать внимания на случайный эпизод: ну, ошибся человек, подумаешь! Так, вероятно, и сделал бы автор замечательных стихов, от которых, по абсолютно единодушному мнению, «бегали мурашки по коже», если бы к тому времени не понял, что его имя умалчивается, «оттирается» от песни. Происходило это постоянно и предельно просто: имя автора стихов почти никогда не называли при исполнении «Бухенвальдского набата». Постепенно и неизбежно в сознании слышавших оформилось, «отвердело» словосочетание «Мурадели, «Бухенвальдский набат». Без автора стихов. Но он же должен быть! Кто? Да, без сомнения, тот, чье имя «на слуху»!

Не буду утверждать, что замалчивание Александра Соболева было спланированной акцией. Но и не исключаю такой вариант. Уж очень все было шито «белыми нитками». Писали (и много) о Мурадели, брали у него интервью. На газетных полосах замелькали заголовки: «В гостях у автора «Бухенвальдского набата» — рассказывали о Мурадели... «Почта автора «Бухенвальдского набата» — опять-таки Мурадели... А восторженных писем приходило великое множество. На радио такие письма доставляли с почтамта мешками. Соболев об этом ничего не знал... Гурьбой осаждали Мурадели журналисты. К Александру Соболеву в период бурной славы «Бухенвальдского набата», как и никогда после, до конца его жизни, не обратился ни один представитель советской прессы. Случайность? Плохо вяжется, плохо верится. Владимир Войнович говорил как-то в радиоинтервью, что после появления его песни о «пыльных тропинках далеких планет...» у него дома «раскалился» телефон: все редакции наперебой требовали его новые стихи. У Александра Соболева телефон молчал. Ни одна редакция не пожелала поинтересоваться содержанием его поэтического портфеля! По меньшей мере странно! А вдруг там лежало еще нечто «набатоподобное»? Неужто не интересно?..

Откуда вдруг возникла такая нелюбовь к Александру Соболеву в средствах массовой информации, к нему, ничем и нигде себя не запятнавшему, наоборот, достойному уважения гражданину и поэту? Возможно, а пожалуй и наверняка, причина кроется в том, о чем повествует давний небольшой эпизод. Как-то Соболеву позвонила некая поэтесса, в литературных кругах шестидесятых годов известная. Я не назову ее имени умышленно, поступок ее, хочу верить вынужденный, красивым не назовешь. «Соболев, — предложила она, — давай я о тебе для «Советской культуры» очерк напишу: ты и фронтовик, и инвалид войны, и автор такой песни!» — «Пиши... Но ты знаешь, что я — еврей?» — осведомился знающий конъюнктуру Соболев. «Ты — еврей?! — Удивление неописуемое. — Не важно, я тебе на днях позвоню»... И пропала... Навсегда.

К этому обстоятельству — проясняющему — следует кое-что добавить. В поисках причины возникновения некоторых наиболее «колоритных» моментов в жизни Александра Соболева приходится вспомнить один телефонный звонок, который по прошествии времени можно назвать «вещим». Он раздался в нашей квартире вскоре после взрыва популярности «Бухенвальдского набата». Соболев поднял трубку. «Мы тебя прозевали, но голову поднять не дадим», — отчеканил мужской голос. И... короткие гудки. Так выглядело объявление войны, продолжавшейся до самой смерти Александра Соболева. А тогда он задумался. Нет, не над угрозой — он не придал ей значения. Он попытался отгадать, «вычислить», кто скрывается за этим «мы». Мысленно перебрал разные категории человеческих сообществ и пришел к огорчившему его выводу: так отреагировала на его успех некоторая часть собратьев по перу... Естественно, не лучшая, из «визгливых приспособленцев», как их называл К. Чуковский.

Подтверждало грустную догадку Александра Соболева и полнейшее невнимание к нему руководства Союза писателей. Казалось бы, неожиданно громко заявил о себе человек бесспорно одаренный. Кто должен, да просто обязан был словом и делом отозваться на появление нового таланта? Разумеется, в первую очередь — руководство творческой писательской организации. Но боги с писательского Олимпа безмолвствовали. И это демонстративное безмолвие позволяло предположить негласную солидарность тех, кто «озорничал» по телефону, с теми, кто восседал на Олимпе. Обе стороны не церемонились в «войне» с Александром Соболевым. К примеру, такое вот красноречивое совпадение: стоило Соболеву (после очень благожелательного разговора с заведующим Отделом культуры ЦК КПСС В. Поликарповым) заявить Г. Маркову, тогдашнему главе СП, о своем намерении стать членом Союза писателей, как немедленно последовало очередное телефонное анонимное откровение: «Не суйся!» Мотивировка звучала еще более «изысканно»: непечатно.

Соболев понял, что на его пути в СП клубок писательских интриг. И не стал «соваться». Он осознал, что борьба не для него: силы инвалида войны ограничены, и куда важнее отдать их творчеству. Вот так и народился еще один из парадоксов времен застоя: автор «Бухенвальдского набата», произведения с международной известностью, — не член Союза советских писателей.

Впрочем, в чем-то здесь прослеживается истинная правда: Александр Соболев никогда не был советским писателем. Он разрешал себе роскошь быть просто писателем.

Если относиться снисходительно к человеческим слабостям, то можно понять стремление советских писателей стать обладателями вожделенного билета члена СП. Членство в СП в те годы раз и навсегда определяло социальный статус литератора. Он становился писателем не только де-факто, но и утверждался де-юре, со всеми вытекающими из сего положительными профессиональными и житейскими последствиями. Не имея членского билета СП, Александр Соболев причислялся к «неписателям» тоже со всеми вытекающими отсюда, но уже отрицательными, отягчающими жизнь и деятельность последствиями. Смешно сказать, но автор известнейшего произведения не имел права пройти в Центральный Дом литераторов, чтобы пообщаться с коллегами: «посторонних» в ЦДЛ не пускали. Запретны были для «неписателя» Соболева и дома творчества СП, и его оздоровительные организации. Инвалид войны, он дважды обращался в Литфонд, в то время богатейшую организацию СП, просил помочь поправить здоровье. Оба раза получил отказ. «Не положено!»

При партмонополии издательского дела он не мог издавать свои книги: требовалось «напутствие» СП. Не диво, что большая и лучшая часть созданного поэтом Александром Соболевым нашла пристанище в его столе. (Публикаций у него почти не было, следовательно, не было и заработка. И не будь гонорара за исполнение «Бухенвальдского набата» — вот тут «други дорогие» ничего сделать не могли! — пришлось бы нам туго, так как я осталась без работы. В Московском радиокомитете, где я была репортером, учинили еврейский погром: уволили всех евреев-корреспондентов и меня — жену такового.)

Издатели с Соболевым «играли». А издатели были кто? Да все те же советские писатели. В 1963 году в издательстве «Московский рабочий» и в 1968 году в издательстве «Советская Россия» были разыграны спектакли, поставленные, судя по почерку, одним режиссером. Сначала рукопись принимали к изданию, заключали договоры, включали в публикуемые планы с отличными аннотациями, а потом... отсылали рукопись автору бандеролью по почте, рассчитывая получение бандероли (с точностью до дня) к какому-нибудь общему празднику. Чтобы побольнее уколоть.

И вот, вместо того чтобы немногие часы и дни, когда отступала болезнь, отдавать творчеству, оскорбленный поэт «поднимал брошенную перчатку» — вступал в навязанный конфликт. Он обращался в поисках справедливости в суд, в советский суд. Противоположная сторона пускала в ход тяжелую артиллерию «телефонного права» и «телефонного сговора». Многомесячная тяжба с «Советской Россией» закончилась частичной победой Соболева: с издательства взыскали в его пользу гонорар за неизданную рукопись. Но только после личного вмешательства самого председателя Верховного суда. Почему я называю решение Верховного суда частичной победой? Потому что стихи остались неизданными. Преодолеть новый круг тяжбы у инвалида не было сил. К тому же он понимал: перевес сил не в его пользу, дальнейшая борьба бесплодна.

На память остался отзыв о сборнике стихов Соболева литературоведа, академика Л.И.Тимофеева: «Каждый, кто прочтет эти стихи, станет чище, лучше...»

В те времена на предприятиях, в учебных заведениях, в институтах, колхозах часто проводились «встречи с писателями». Они транслировались по телевидению или позже давались в записи. Можно ли придумать лучшую рекламу? Но Александру Соболеву, песню которого знал, пел без преувеличения каждый, это, как и многое другое, было «не положено!». Его замалчивали. Успешно. Поэт Соболев был забыт при жизни, не став известным.

Поведаю еще об одном «не положено!» в судьбе поэта. Не иначе как международная известность «Бухенвальдского набата» вынудила Советский Комитет защиты мира, правда 12 лет спустя, в 1973 году, наградить Соболева медалью «Борец за мир», нет, не международной «За укрепление мира между народами», а, так сказать, местного значения. Вы думаете, вручали ему эту медаль публично, торжественно, на заседании Комитета защиты мира, в присутствии гостей и представителей общественности, прессы? Нет. Ответственный секретарь Комитета в своем кабинете один на один отдала Соболеву медаль. Приватно. Правда, руку пожала...

Может быть, Александр Соболев был нехорош собой и его стеснялись показать людям? А если без шуток, то и здесь поэта лишили возможности предстать перед почитателями его песни. Под большим секретом один из сотрудников Комитета поведал Соболеву о том, что попытки иностранцев встретиться с автором антивоенной, антифашистской песни «Бухенвальдский набат» всегда пресекались: в одних случаях ссылкой на его нездоровье «в данный момент», в других — на отсутствие в Москве «в данный момент». Его и здесь прятали, и здесь замалчивали.

Сунув, будто украдкой, Соболеву медаль «Борец за мир», Советский Комитет защиты мира постарался навсегда о нем забыть. Иначе чем и как можно объяснить стойкое, неизменное отторжение, отстранение борца за мир, поэта Соболева от участия в международных и союзных антивоенных акциях, которых проводилось в пропагандистских целях очень много? Собирались форумы, плыли теплоходы в разные страны с миротворческими миссиями. И всегда, на всех антивоенных мероприятиях не хватало одного места — для автора лучшей антивоенной песни. По какой такой причине?

Помню, в 1965 году в Москве проходил форум «Женщины Мира в борьбе за мир». Концерт при закрытии форума начался песней на стихи Александра Соболева «Женщины мира» (музыка Юрия Ефимова) и закончился, как заканчивались в те годы все сколько-нибудь заметные собрания, а уж значительные и подавно, — «Бухенвальдским набатом». Где находился тем вечером автор двух этих песен? Логично предположить, что сперва в качестве почетного гостя форума принимал участие в его работе, а затем вместе с делегатами и другими гостями переместился в концертный зал на торжественное закрытие. Увы!.. Успех своих песен — успех бурный, шквальный, когда зал взрывался аплодисментами, — он наблюдал дома, сидя у телевизора. Я это хорошо запомнила. Как сейчас вижу выражение его лица: глубоко сосредоточенный, без улыбки взгляд, устремленный на экран и... казалось, мимо, в себя... тогда я поняла с ужаснувшей ясностью, как можно убивать человека, не прикасаясь к нему, как можно отравить счастье и радость от творческой удачи.

И теперь, десятилетия спустя, я определяю его тогдашнее состояние словами Федора Абрамова: «А ты, оплеванный и униженный, пиши многие годы. Вот это — подвиг! Вот это — мужество!»

К описанию разных «не положено!» в жизни поэта Александра Соболева прибавлю еще и такое: ни к одной своей «круглой дате» не сподобился он услышать, как это было заведено: «За выдающиеся заслуги... наградить...»;

За «Бухенвальдский набат» поэт Соболев не заслужил в глазах компартии даже простого «спасибо». Народ неистовствовал, внимая песне, а партия и правительство были, как всегда, не в ладах с мнением народа.

Мне приходится напоминать, что Соболев был инвалидом войны пожизненно. Издеваться над здоровым человеком — стыдно, непорядочно. Глумиться над инвалидом — преступно, кощунственно. И вот после такой «преамбулы» задаю вроде бы риторический вопрос: допустимо ли, нравственно ли отбирать у инвалида заработанные им деньги?.. Но власть партийная, отбиравшая гонорары у поэтов и композиторов за выпущенные грампластинки, не сделала исключения и для инвалида Соболева.

Фирма «Мелодия» не успевала поставлять в торговую сеть грампластинки с «Бухенвальдским набатом», вышло их, как сказали Соболеву, что-то около девяти миллионов. Доля гонорара автора стихов составляла, по приблизительным подсчетам, почти миллион рублей, тех, доперестроечных, неинфляционных. Чтобы получить представление о размерах гонорара в современных дензнаках, надо к упомянутому миллиону приписать четыре нуля... Соболев из заработанных за грампластинки денег не получил ни копейки. Написал Косыгину, попросил хотя бы двадцать тысяч (из миллиона). Ответа не последовало... И когда автор знаменитого произведения собрал документы для оформления пенсии по возрасту, его средний заработок составил 275 рублей. Может быть, ему дали персональную пенсию? Нет, он и этого оказался недостоин.

Странные мысли приходят в голову, когда вспоминаешь незначительный вроде бы эпизод, связанный с «Бухенвальдским набатом» и его автором.

Как рассказал Александру Соболеву знакомый артист Ансамбля песни и пляски Советской Армии, он оказался случайным свидетелем разговора, происшедшего во время гастролей ансамбля во Франции. Успех «Бухенвальдского набата» был, как всегда, огромен. После концерта к руководству ансамбля обратился один из слушателей. Этот человек хотел узнать, каким образом он может в благодарность за «Бухенвальдскии набат» передать в подарок автору слов этой песни легковой автомобиль.

Присутствовавший при этом «человек в штатском» ответил: «У него есть все, что ему нужно»!

Можно ли себе представить, что и четыре года спустя после начала победного шествия «Бухенвальдского набата» по всему миру поэт Соболев продолжал жить в бараке? Да, да, в бараке, «по уши» осевшем в землю, разумеется без каких-либо удобств. И, похоже, никто не собирался его оттуда извлечь. Между тем окружающим было непонятно, как это такому человеку не дают подходящую квартиру.

Во что обошлись поэту эти долгие барачные годы, надеюсь, ясно.

Чего стоило мне добиться свидания с секретарем парторганизации ЦК КПСС, тоже объяснять не надо. Но после разговора с ним, к счастью журналистом в прошлом, буквально через два дня нам прислали пять ордеров на квартиры — на выбор, все в хрущевках, одна другой хуже. Так мы переехали в малометражную двухкомнатную квартиру. У больного поэта появилось место для отдыха и работы — комнатка-восьмиметровка.

Разумеется, никто не собирался заботиться о летнем отдыхе талантливого, к тому же больного человека. И не будь у моей овдовевшей мамы половины горсоветовского дома, площадью в 18 квадратных метров, с небольшой террасой, сидеть бы Соболеву в душной, задымленной Москве «в обнимку» со своей второй группой инвалидности безвыездно. Даже собес и тот не выполнял по отношению к нему закона об обязательном ежегодном предоставлении путевки в оздоровительное учреждение инвалидам войны первой и второй групп.

Что ж, хвала Озерам! В них Александр Соболев написал не только «Бухенвальдский набат», но и большую часть своих стихов, в последние годы — и роман. Чистый воздух, тишина, сосновая роща возле дома, близость Песочного озера — старицы Оки, близость и самой Оки, окружающие город со всех сторон леса — естественно, в такой благоприятнейшей обстановке и жилось, и работалось отлично. Тесновато, так сказать, жилплощадь мала? Но мудрый народ давно сказал: «В тесноте, да не в обиде».

Занятная и грустная история отношения к Соболеву властей города Озеры. Очевидно, поначалу, поддавшись, как и все, гипнотическому действию «Бухенвальдского набата», узнав, что прекрасные стихи написаны у них в городе, они даже без просьбы Соболева расширили террасу до 12 метров (та, на которой был написан «Бухенвальдский набат», имела пять с половиной) и заговорили о благом намерении — построить за свой счет поэту дом на высоком берегу реки Оки.

Но очень скоро отцы города сообразили, что ошиблись. Они поняли, что поэт Соболев — не любимчик «верхов». Повод для прозрения был налицо: вроде бы знаменитая птица, а проводит каждое лето в такой захудалой, уж никак не золотой клетке. И их осенило: песня живет сама по себе, а ее автор — сам по себе. Песне — слава, автору — шиш. Значит, он в глазах «верхов» не выдающийся, а как все «простые» люди, бесправный, значит, никем и ничем не защищенный.

И когда моей маме исполнилось 80 лет и ее необходимо было взять к нам в Москву, озерские власти без стеснения показали Соболеву, чего он стоит в родном Отечестве. Соболев попросил в горкоме оставить небольшое жилище ему в качестве дачи: и как поэту, и как инвалиду. Ответ Озерского горкома партии должен во веки веков служить мерилом «ума, чести и совести» компартии. Он гласил: «Отказать, так как он уже прописан в Москве».

Никогда не пойму, зачем понадобилось секретарю Первомайского райкома партии Москвы расставлять Соболеву ловушку? Дело в том, что Соболеву пришлось пойти к нему на прием: в связи с увеличением нашей семьи поэт лишался своего небольшого кабинета, комнатку-восьмиметровку он уступил моей старой и больной маме. Наша двухкомнатная квартира была малометражкой — 25,5 м. Соболев попросил секретаря райкома помочь по возможности побыстрее поменять нашу квартиру на трехкомнатную, пусть тоже малометражку, и хорошо бы поближе к лесопарку Измайлово — нет дачи. Ответ партруководителя обнадежил: пусть теща возьмет справку, что сдала свою жилплощадь городу Озеры, и мы в течение двух-трех месяцев подберем вам квартиру. А когда требования были выполнены, тот же секретарь сказал: «Поставим вас на льготную очередь. Года через два...» Это означало: больному поэту два года жить в стесненных и уж отнюдь не рабочих условиях, два года не выезжать на лето за город. Места отдыха (слава озерским властям!) мы лишились. Вот это — капкан! Вот это — западня! Отчаявшись, я написала письмо в Отдел культуры ЦК КПСС. Тогдашний замзавотделом культуры, будущий редактор газеты «Советская культура» Беляев лично и терпеливо объяснял мне значение термина «не положено» в данном конкретном вопросе. Ну, хоть в омут головой, помощи ждать неоткуда!

Но... тут произошло чудо. Не знаю, по какой причине, по сей день это для меня загадка, позвонил инструктор Отдела культуры Цветков, подчиненный Беляева, и стал упрекать меня за наветы на секретаря Первомайского райкома. Он, Цветков, только что говорил с ним о Соболеве и услышал, что в райкоме недоумевают, куда же пропал Соболев, ему уже подобрана квартира, а он не идет получать ордер. Я осталась буквально с открытым ртом... А чудеса продолжались: Соболеву позвонила вдруг дама из районного отдела учета и распределения жилплощади и сладчайшим голосом попросила его и его супругу подойти в такой-то день, в такой-то час получить ордер, но раньше, если угодно, посмотреть квартиру. Так мы очутились в Южном Измайлове, в доме рядом с лесопарком.

Во всей этой истории для меня до сих пор неясен еще один вопрос: не хватил ли секретаря райкома удар от страха, когда ему позвонил насчет Соболева инструктор ЦК?

Как чувствовал себя поэт в такой «наидружественнейшей» обстановке, в условиях круговой осады? Как ему жилось и работалось? Ну, надеюсь, об этом догадаться нетрудно: были у него и продолжительные перерывы в творчестве, были и «подъемы и обрывы» в настроении... — о причинах мною сказано далеко не все, но все же, считаю, достаточно, чтобы понять: не одна ограниченная работоспособность — следствие фронтовой инвалидности — мешала интенсивному творчеству поэта.

«Без чувства, что его ценят, ему доверяют, его работой интересуются, любой творческий работник, будь то ученый, писатель или художник, интенсивно и смело работать не может». Это слова П.Л.Капицы. Они полностью приложимы к поэту Александру Соболеву.

Вот почему невелико по объему его творческое наследие. И все же обязана сказать: сильный он был человек, волевой, упорный. Самое убедительное свидетельство тому — неизменно мажорный, жизнеутверждающий заключительный аккорд большинства его стихотворений. А разве не само собой понятно, что «Бухенвальдский набат» не смог бы написать человек тихий, смиренный, покладистый, каждый свой шаг предусмотрительно измеряющий? За «Бухенвальдским набатом», силой его воздействия на людей, стоит личность, способная на высокие духовные взлеты, на колоссальную душевную отдачу, личность неукротимая, к ограничительным рамкам непримиримая. Как сказал Д.И.Писарев: «Творец может дать своему творению только те свойства, которыми он сам обладает».

Читатель заметит, что значительную часть сборника составляют антивоенные стихи. Это следствие глубочайшей убежденности поэта в том, что только всеобщий прочный мир обеспечит народам прогресс, благополучие, процветание. Бывший фронтовик, он редко обращался в своем творчестве к событиям минувшей войны. Пребывание в действующей армии укрепило его представление о войне как об извращенном, богопротивном состоянии рода человеческого, когда в противоестественных «боевых» условиях не только гибнут люди, но получает жестокие травмы беззащитная природа.

Природе посвящены многие его стихи. И поневоле думалось порой, что любовь поэта и природы взаимна. Делать столь странный вывод заставляли необычные, необъяснимые обстоятельства. «Почти всегда в мой день рожденья бывает солнечный денек», — написал Александр Соболев в одном из стихотворений. Можно верить, можно сомневаться, но солнечная погода в дни рождения поэта — не вымысел, не игра воображения, а самая неприкрашенная быль. Не раз бывало так: накануне дня его рождения по небу медленно, хмуро ползли низкие пухлые облака свинцового цвета — циклон, похоже затяжной. Но утром следующего дня на горизонте таяли поредевшие остатки дождевых облаков, и наступал праздник солнца, праздник света в подарок новорожденному.

По давней и неизменной нашей с ним традиции — праздновать дни рождения Александра Владимировича в лесу или за Окой, мы отправлялись на многочасовую прогулку.

Под августовским небом светло-синим,

с единственною — другом и женой,

в красе волшебной, тишине лесной,

я праздновал сегодня день рожденья.

Попробуйте, какое наслажденье!

Мы оставались в лесу долго, пока лучи уже склонявшегося к закату солнца не проникали далеко вглубь леса, окрашивая стволы деревьев в золотистый цвет. Постепенно лес затихал, словно погружался в дремоту...

Утро очередного дня напоминало утро позавчерашнее. «Окошко» солнца и света, праздничной радости как будто закрывалось, и циклон продолжал после однодневного перерыва свой далекий путь.

Подобные чудеса, ну как их назвать иначе, повторялись много раз и побудили поэта рассказать в конце концов о такой трогательной милости природы.

Читатель без труда заметит, что через все творчество поэта проходит мысль о свободе, жажде свободы, о главном праве человека — быть свободным.

Отвергнутое и невостребованное на поле лирики и публицистики, разностороннее дарование Александра Соболева с успехом проявило себя в области сатиры. Его фельетоны, басни, сатирические миниатюры составили три небольшие книжки в серии «Библиотека «Крокодила».

Не противоречу ли я себе? Значит, все же что-то было «положено» гонимому поэту? И потом, как и почему допустили издание его книжек бдительные «друзья», которые обещали ему не дать поднять голову? Надо отдать им должное: они старались. Однако их усердие разбилось в прах о главного редактора журнала «Крокодил» М.Г.Семенова. «Ну и друзья у вас!» — не раз говорил он Соболеву. К чести Семенова, он был одним из немногих номенклатурных (работников, которые разрешали себе «сметь свое (суждение иметь». Правда, это обошлось ему дорого. Известно, номенклатурный пост покидали разве что с перемещением на кладбище. С Семеновым поступили «не по правилам»: он покинул редакторский пост сразу по достижении пенсионного возраста. Во время беседы [в ЦК КПСС Суслов упрекнул его в том числе и за фельетоны Соболева. Действительно, бывали случаи, когда пущенный «по кругу» членами редколлегии фельетон Соболева прибывал к Семенову с двумя-тремя резолюциями «отклонить». Он перечеркивал их и писал: «В набор!» А набирали фельетоны смелые, острые, разоблачительные, нередко на грани возможного для публикации. Не случайно один сатирик признался Соболеву: «Я не то что нести в редакцию, я и писать так боюсь».

Пастернак говорил как-то о смелости писателя. Но не о смелости в кабинете редактора, а перед чистым листом бумаги. Такой смелости Александру Соболеву занимать нужды не было.

Знали ли люди о том, что сатирик Соболев и автор «Бухенвальдского набата» — одно и то же лицо? Нет. Ведь о нем молчали и пресса, и радио.

Только за год до смерти вышла у 70-летнего Александра Соболева книжка-«малышка» лирических, публицистических, философских стихов. Но в каком виде?! «Ты захотел книжку? Получи!» После двух онкологических операций уже приговоренному поэту был нанесен беспримерный по подлости удар. Не имея сил работать над рукописью в период ее выхода в свет, он дал издателям из «Современника» (по их предложению и, приходится думать, не бескорыстному) письменную доверенность. Ну а что произошло дальше — и в кошмарном сне не приснится! Две трети стихов, помещенных в сборнике, по заключению литературоведов В.Огнева и А.Туркова, нуждаются в возврате к авторской редакции. Из них выброшены слова, строки, целые строфы, до утраты смысла стихов, сбит ритм, нелепое редактирование... Писатели-редакторы потрудились по-коммунистически, на славу! Скомпрометирован Александр Соболев перед читателями отменно!

Реабилитировать себя он не успел... Хотя пытался. Обратился к тогдашнему председателю Комитета по печати СССР Б.Пастухову. Храню «за семью замками» письменное заверение Пастухова, что как только рукопись будет представлена в Комитет, тут же будет названо издательство, которое займется исправлением брака «Современника». Соболев поверил Пастухову, отдал ему рукопись. А потом... Незадолго до смерти он написал (не помню, послал ли) такие строки, адресованные государственному деятелю Пастухову:

Я вам благодарен бесконечно, благодетель и радетель мой.

Вот на самом деле вы какой!

Что ж, ведь у меня, как и у вас,

в запасе вечность.

Что мне потерять годок-другой?

Не было этих сроков в запасе у поэта. Скоро его не стало. Он скончался 6 сентября 1986 года. Похороны, достойные такого человека, ему тоже были «не положены». Извещение о кончине поэта не дала ни одна газета, ни радио, ни телевидение. Его и здесь ухитрились замолчать. За гробом кроме меня шли несколько моих родственников и соседей по дому, как за мирно почившим тихим старичком, таким одиноким, безвестным, незаметным... Что ж, слава КПСС! Слава Союзу писателей!

Слышала, что ко многим талантливым творческим людям признание приходит только после смерти. Но Соболеву и это «не положено»! Это «не положено» преследует его неистребимо, как проклятье. Со дня его кончины скоро десять лет. Десять лет моих неустанных, но, увы, почти безрезультатных стараний — к кому и куда я только не обращалась! — отдать людям ero лучшие стихи, его роман — то, что он вынужден был писать «в стол»... Тщетны были мои усилия! Зато какой калейдоскоп кислых, хмурых, насупленных, враждебных, холодных физиономий остался в памяти! Я не стану перечислять всех именитых и влиятельных, к которым взывала о помощи, у которых была на приемах, Писала им письма. Пусть постигнет их Божья кара!

На фоне писательской и партийной неприязни к творческому наследию Александра Соболева ярче и благороднее выглядят единичные проявления уважения к покойному поэту. А именно это продемонстрировали словами и делами литературоведы В.Ф.Огнев и А.М.Турков. При участии Туркова состоялась публикация стихов Соболева в «Аитгазете», авторская радиопередача Соболева, посвященные ему отдельные газетные публикации.

Благодарна бывшему заместителю Министра кульгуры СССР В.И.Казенину. Только с его личной помощью удалось мне преодолеть сопротивление руководства фирмы «Мелодия» и бездействие руководства Советского Комитета защиты мира — выпустить в 1990 году памятную грампластинку Александра Соболева «Берегите мир» с песнями и стихами поэта. Больше сказать спасибо мне некому.

Обращалась я и к президенту России. Дважды. По поводу издания книг Соболева. Спрашивала, неужто новая власть не считает долгом совести оплатить выход в свет двух небольших его книг за счет средств, некогда отнятых у него прежней властью? Стоимость издания — всего лишь один-два процента от громадной суммы, им самим же некогда заработанной!..

В Комитете по печати, куда переслали письмо, к просьбе моей отнеслись с пониманием и решили частично дотировать издание стихов Соболева, тем более что к моменту принятия этого решения рукопись сборника уже находилась в издательстве «Московский рабочий» и до выхода ее в свет, по заверению главного редактора, оставалось чуть более года. Но миновал год, затем второй... Продержав у себя рукопись свыше трех лет, издательство вернуло ее мне. В письме генерального директора издательства Скачкова сказано: «Союз писателей книгу Вашего мужа (Курсив мой. — Т.С.) к изданию не рекомендует». Вот так-то...

В августе 1995 года Александру Соболеву, будь он жив, исполнилось бы 80 лет. Позвонила я заблаговременно в «Литературную газету», предложила отметить его юбилей, заодно рассказать о «без вины виноватом», извиниться, опубликовать подборку стихов забытого поэта. Ответ прозвучал как приговор: «Мы этого делать не будем». Мысленно я добавила: «Во веки веков. Аминь».

Так кто же он, Александр Соболев, — поэт забытый или забитый?

Однажды, в минуту душевного «прокола», я возопила: «Почему ты не расскажешь сам, как жилось тебе — честному человеку и поэту в ореоле славы твоего произведения? Почему не напишешь свою биографию?!» Он ответил: «Я все сказал в стихах». Он оказался прав. В меру сил своих я лишь дополнила его поэтическую исповедь.

И последнее. Деньги на издание книг Александра Соболева я получила путем обмена своей трехкомнатной квартиры на однокомнатную. Не окажись я владелицей «хором», оставшихся мне после смерти его и мамы, пропасть бы всему, что создал за полвека автор знаменитого «Бухенвальдского набата» поэт Александр Соболев.

Татьяна Соболева

## СТИХОТВОРЕНИЯ

**\* \* \***

Небо хмуро, земля бела.

Под ногами — и скрип, и хруст...

Вот уж снова зима пришла,

но остались тоска и грусть.

За окном снежок порошит,

и румянит лица мороз.

Ну а я снова к стулу «пришит»...

Ни мечтаний, ни страсти, ни грез.

Где-то там, на горячих катках,

слышен гомон веселый и звонкий:

это молодость на коньках мчится

с жизнью наперегонки.

Где-то слышен задорный смех —

он на лыжах с пригорка летит...

С неба падает,

падает снег...

Где ж мои вы, дороги-пути?.

Где?..

1932

**Я ВЕРУЮ**

Меня ругают близкие,

что не туда иду,

что я на путь на истинный

никак не набреду.

Шатаюсь-де и путаюсь,

шальная голова,

живу одной минутою,

а там — хоть трын-трава!..

Ботинки, мол, истоптаны,

чуть пятки не видны,

в пяти местах заштопаны

последние штаны...

Нет, уши не закрою

я от этакой молвы.

Конечно, все по-своему

разумны и правы.

Знакомые и близкие,

им вовсе невдомек,

что путь мой тяжкий —

истинный, хоть труден и далек.

Через ограды лезу я:

за высотой оград —

поэзия, поэзия,

цветущий вечно сад.

Я не сорвусь, я верую,

нет, я не упаду,

мое большое дерево

поднимется в саду!

Июнь, 1935

**СТРАННЫЙ СОН**

Как море Черное

в свирепый ураган

кипит, волнуясь,

небо над Москвой.

Москва в огне,

Москва в кольце врагов!

Тре-во-га!

Потоки толп текут по мостовым...

Тре-во-га!

Сирены ревом режут ночь на части,

орудия грохочут громовым раскатом,

рокочут самолеты,

и стрекочут

чечеткой частой пулеметы...

Тре-во-га!

Сквозь дикий вой, и шум, и грохот

врывается набат призывной речи:

«Сограждане!

смелей деритесь, крепче,

не то враги Москву в крови утопят!»

Я сразу становлюсь сильнее, старше,

и тверже шаг, оружие в руках.

Враги бегут...

Мне больше бой не страшен.

Победным маршем он звучит в ушах.

Ура! Вперед! Вперед!

Мы побеждаем!..

И вдруг я падаю

и... пробуждаюсь.

Открыл глаза.

Зажмурился от световой волны.

Как хорошо, что мир,

что нет войны...

Июнь, 1935

**СОН**

Верю я тому или не верю,

поздней ночью или поутру,

я стою перед закрытой дверью

в пиджачке,

на ледяном ветру...

1935

\* \* \*

Версту одолеваю за верстой.

Иду... Куда? И знаю, и не знаю.

Вдруг, окрыленный призрачной мечтой,

я к звездам, словно наяву, взлетаю!

От радости такой я будто пьян,

и, кажется, сильнее всех на свете!

Но это — лишь пустой самообман:

пропал зверек, коль угодил в капкан,

не выплыть рыбе из добротной сети.

Как я такой дерзнул любить тебя?

Что может дать цветку усталый путник?

Жить, знаю, невозможно, не любя...

Но разве ворону голубка спутник?

Хоть раз обнять твой тонкий юный стан,

и стал бы я счастливей всех на свете!

Но это — лишь пустой самообман:

пропал зверек, коль угодил в капкан, не выплыть рыбе из добротной сети.

1940

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Не всегда быть небу в бирюзе.

Небо черно — значит, быть грозе.

Ходят тучи хмуро. Ну и что ж?

Скоро хлынет ливень, летний дождь.

Ждут его и пашни, и сады,

плохо огородам без воды,

ждет его томимый жаждой лес.

Ну и я не спрячусь под навес.

1944

\* \* \*

Напрасно тебя я тяну

идти по пути со мной.

Ты влюблена в тишину,

в белку под стройной сосной.

Жизнь — серебряный круг,

благодать и покой...

Снится тебе супруг

комнатный и ручной.

Я не такой души.

Я от тебя уйду.

Смогу эту боль заглушить,

один одолею беду.

1944

\* \* \*

о, если бы я был капиталист,

я б отдал без остатка миллионы

тому, кто сделает обычный лист,

багряный лист, какой роняют клены.

1944

\* \* \*

Ты не ждала... А я мечтал

об этой встрече дни и ночи.

Как о тебе я тосковал!

Пусть тишина, пусть бой грохочет,

пусть смрад и дым пороховой,

летят осколки смертным градом,

я верил: ты со мною рядом,

с тобой останусь я живой.

Был день, как ночь.

Разрыв шрапнели...

Я раненый к земле припал.

И в госпитале, на постели,

я чуть дышал, я умирал.

Казалось, несколько мгновений —

и жизнь уйдет...

Но ты ко мне

явилась радостным виденьем,

и я увидел свет в окне!

И вот ты снова предо мной...

Но взгляд холодный и чужой.

Твои глаза глядят далёко,

ты ждешь грозу,

ты ждешь беду,

ты ждешь тяжелого упрека...

Я молча от тебя уйду.

1944

\* \* \*

Да, мой путь не легок, не покат он,

крут, тернист, другими не исхожен.

Не ищу я кем-то и когда-то

плотно утрамбованных дорожек.

Показного не терплю геройства.

Против ветра мне шагать по нраву.

Вечное, большое беспокойство

мне дороже почестей и славы.

1944

\* \* \*

Еще ничего не осознано,

только начало пути...

Может, пока не поздно,

опомниться и уйти?

Роза ко мне нежно клонится...

Ах, какой аромат!

Ночь позади... Бессонница...

Я долгой бессоннице рад.

Маки, ромашки, левкои —

в комнате яркий цветник.

Не жажду ни сна, ни покоя —

сердцем к цветам я приник.

Радость, тревога, ненастье,

сладкий любовный угар.

Что это — первое счастье,

жизни последний удар?..

1945

\* \* \*

Я не знаю, как это случилось...

Был апрель, весенняя пора,

воробьи, как детвора, резвились,

щебетала звонко детвора.

В форточку, распахнутую настежь,

залетел весенний ветерок.

То ли я просил тебя о счастье,

то ли ты шепнула: «Это — рок...»

Я не знаю, как это случилось...

1945

\* \* \*

Какая ты весенняя

с зеленым пояском!

Сейчас открою сени я,

и ты войдешь тайком.

Цветами ты взлелеяна,

украшена венком,

и буду весь овеян я

пьянящим ветерком.

1945

\* \* \*

Думаешь, я в обиде

или от злобы зарделся?

Я не такое видел

и не того натерпелся!

Думаешь, если пригожа —

значит, бесценный слиток?

Я ведь, наверное, тоже

не лыком наспех шитый.

Брось ты капризы эти,

нечего зря колоться!

Ни перед кем на свете

моя спина не согнется.

Мне не надо лести,

мне от фальши — нудно...

Хочешь, как равные, вместе

пойдем по дороге трудной?

1945

\* \* \*

Я взора от окна не оторву,

до боли вглядываясь в девушек прохожих.

Так много издали с тобою очень схожих,

но ни одну своей не назову.

А почему? Я ведать не хочу,

шальному сердцу не прикажет разум...

Пускай с тобой не встретимся ни разу,

а все-таки я у окна торчу...

1945

БЕТХОВЕН

Прозвучать оркестром

может пианино.

Только очень тесно

в маленькой гостиной.

В ней, томясь от скуки,

коврики и плюши

поглощают звуки,

музыку душат...

Отметая шторы,

сквозь туман пуховый

рвется на просторы

Людвиг ван Бетховен,

где леса и горы,

где гуляют тучи,

где играет море,

полное созвучий.

1945

ИЗМЕНА

Что будет со мной — неизвестно,

загадочна дымка пути.

За чуткость мою и за честность

коварством своим отплати.

Ты мягко играешь Шопена,

но явно, сквозь шорохи снов,

ползет, улыбаясь, измена,

как ведьма с букетом цветов.

1945

\* \* \*

Осень... Тучи небом овладели,

дождь идти затеял две недели...

И вконец продрогший воробей

вспоминает прелесть летних дней.

С завистью он смотрит на прохожих,

на зонты, калоши, макинтоши...

И выходит, что по всем приметам

осень одолела лето...

1945

СОЛДАТУ-ПОБЕДИТЕЛЮ

Ты перешел родной порог,

Как солнечная весть.

Не перечесть твоих дорог,

Твоих путей не счесть.

Солдат не плакал никогда,

Хоть было тяжело.

А нынче — экая беда,

Слеза бежит назло.

Не торопись ее смахнуть

И утаить от всех,

От радости такой всплакнуть

И воину не грех.

Садись, товарищ, ты устал.

Сними свою шинель,

Поведай нам, как ты шагал

За тридевять земель.

Как нес священный русский стяг

Сквозь пламя в жаркий бой,

Как пал перед тобою враг,

Поверженный тобой.

1945

О СЧАСТЬЕ

Такое — чересчур жестоко,

такое — горестно-смешно.

Ты счастья ищешь?

Вот оно — под боком,

ну, протяни же руку, вот оно!

Коснись его, неведомая сила

в тебя вольется, и конец зиме.

И ты умчишься на могучих крыльях,

без отдыха, за тридевять земель.

Там — вечный день,

спокойно плещет море,

целуя берег ласковой волной...

Ученый кот живет у лукоморья,

поигрывая цепью золотой...

Ты руку протянул с надеждой, робко

и трепетно... Но будто бы во сне

сверкнула рядом сказочная рыбка

и скрылась невозвратно в глубине.

Да, это — чересчур жестоко,

да, это — горестно-смешно...

Виденье счастья — вот оно!

А счастье? Далеко... Далёко...

1946

\* \* \*

Туман в окне. А может, темень?

Наверно, ночь... Вокруг — покой.

Плывут по небу тучки-тени.

Мы на Земле одни с тобой.

Волос волнующие пряди

струят неуловимый свет.

И теплое дыханье рядом...

А вот уже в окне рассвет.

Я ухожу. Я в сердце ранен,

незримо ранен... Голова

чуть-чуть в хмелю,

слегка в тумане,

во мне звучат твои слова,

звучат, как сказка,

как преданье,

мелодией звучат во мне.

Скорей бы новое свиданье!

Туман в окне, рассвет в окне...

1946

ЦВЕТОК

В саду у железной ограды

вырос чудесный цветок.

И дышит легкой прохладой

каждый его лепесток.

Пусть грозы шумели над садом,

пусть ливни по стеблю секли —

цветок распустился, как радость,

как символ бессмертья земли.

1946

\* \* \*

Жестокий ветер дул

всю зиму напролет.

Скрипел столетний дуб,

одетый в снег и лед.

Казалось, будто он

не вытерпел, застыл,

казалось, мертвый сон

его глаза смежил...

Тянулись корни вглубь -

к подземным закромам.

И выжил старый дуб

наперекор ветрам.

1946

ТРАУРНЫЙ МАРШ ШОПЕНА

Безжизненно скованы губы,

и синяя тень на челе...

И стонут приглушенно трубы,

что будешь ты предан земле.

К тебе устремляются звуки,

они умоляют: «Проснись!

Хоть чуть разомкни свои руки,

и солнце вернет тебе жизнь!»

Но глух ты и нем, словно камень,

и стоны тебе ни к чему.

А звуки, шурша меж венками,

уходят куда-то во тьму...

Но вдруг, вырываясь, бушуя,

они устремляются в бой.

Как море рокочет, волнуясь, —

так трубы поют над тобой...

Сожнут благодарные внуки

тобою взращенную рожь.

И ты под мажорные звуки

торжественно в вечность плывешь.

1946

\* \* \*

Ты сколько б людям ни дарил

своей любви, труда и сил,

ты не рискуешь разориться —

вернется все тебе сторицей!

1947

\* \* \*

Сегодня первый яркий день

красавицы весны.

Такая в небе голубень,

так облака ясны,

так взбудоражена душа,

и так играет кровь,

как будто не весна пришла,

а первая любовь!

1947

\* \* \*

Если нет вдохновенья —

голоса нет.

А фальшивого пенья

не потерпит поэт.

Легче примет страданье,

смирится с нуждой,

чем свершит надруганье

над песней святой.

Лучше долгие сроки

до боли молчать,

чем бескровные строки

на погибель рождать.

Апрель, 1947

НОВЫЙ ДОМ

Старый пес уселся под окном

и скулит тоскливо, глуховато...

Этот старый и сутулый дом

был отменным молодцом когда-то,

щеголяя красотой крыльца,

поджидал хозяина — отца.

Почему ж, внимая пустоте,

все крыльцо обвито паутиной?

Почему от порыжелых стен

валится обветренная глина?

И в ответ собака заскулила:

«Знаю, где хозяина могила...»

Песня раздается поутру,

плотник в дерево топор вонзает,

и растет, растет сосновый сруб,

и доволен молодой хозяин.

Пот струится с крепкого лица.

Он похож на своего отца.

1948

\* \* \*

Солнце всходит над Окою,

быстротечною рекой.

Хорошо идти с тобою

по тропинке луговой,

по тропинке луговой,

с непокрытой головой.

А по берегу крутому

бьет упругая волна,

по простору луговому

дует ветерком весна,

дует ветерком весна,

треплет волосы она.

В небо ясноголубое

утки ринулись в полет...

Здравствуй, утро луговое!

День чудесный настает,

день чудесный настает,

сердце о любви поет!

1948

**ЮНОСТЬ**

Скачут вспененные кони,

за пролеткой пыль — стеной!

Кто их гонит? Кто их гонит?

Удалой или шальной?

Путь неезжен и нехожен,

И неведом, и далек.

Ну так что же? Ну так что же?

Все равно простор — широк!

И подергивает вожжи

залихватский паренек!

1949

\* \* \*

Люблю, когда стих полнокровен и свеж

и полон горячим дыханьем поэта.

И каждая строчка звучит, как мятеж,

и каждое слово пронизано светом.

Пусть хилый и слабый поет стрекозой,

лепечет над стеблем устами истомы.

А сильного песня роднится с грозой

и падает ливнем под грохоты грома!

1949

\* \* \*

Я мучаюсь украдкой,

не раз себя кляня,

что жить тебе несладко,

хорошая моя.

Что с первых километров

далекого пути

на лобовые ветры

приходится идти.

Ухабы, да ухабы,

да рытвины окрест.

Присесть на час хотя бы —

да некуда присесть...

Морщинками усталость

легла у глаз твоих.

Хотя бы ветер малость

унялся и утих!

А он, неугомонный,

бушует и ревет...

—    Быть может, повернем мы?

—    Нет, — говоришь, — вперед!

1949

\* \* \*

Роняет липа в слякоть

осенний свой наряд.

И хочется ей плакать

от горя и утрат.

Под этим небом серым

что может быть грустней?..

Но не теряет веры

продрогший воробей.

Ну как прожить без пищи?

Он верит: все равно

хоть где-то, да отыщет

желанное зерно!

1949

\* \* \*

В длину и вширь на полверсты

надгробья — камни да кресты...

Немой кладбищенский уют —

усопших навсегда приют.

Здесь все кончаются пути.

Здесь дальше некуда идти...

1949

\* \* \*

Эта тема совсем не нова:

настоящее бьется с прошедшим...

Разболелась моя голова,

и мне кажется: я — сумасшедший.

В полумраке плетутся мечты,

тучи плотно на крышу насели.

Хорошо, что, любимая, ты

в этот час у моей постели.

Не печалься, не стал я другой,

хоть припухшие веки обвисли,

все пройдет, если рядом со мной

воплощение чувства и мысли.

1949

\* \* \*

Тонкий, как серебряная нитка,

трепетный, как будто бы живой,

он десятилетиями выткан —

первый поседевший волос мой.

1950

ТЫ В ЖИЗНИ МНЕ ОТРАДА

Ты в жизни мне отрада,

опора и причал.

Какую я награду

тебе за это дал?

С тобой вдохнул впервые

я аромат весны,

с тобою золотые,

как детство, видел сны.

Когда от жгучей жажды

мой рот пересыхал,

к твоим губам, чуть влажным,

как к роднику, припал.

И надо мной как будто

стеной поднялся лес,

и за одну минуту

окреп я и воскрес.

Твои глаза струили

такую благодать,

которую не в силе

и скрипка передать.

И нежные ладони

мне освежили грудь.

И без тебя, я понял,

мне шагу не шагнуть.

Крутой тропой, не торной,

в пургу, мороз и зной

уверенно, спокойно

ты вдаль идешь со мной.

Мы скоро выйдем вместе

к манящему огню.

Неслыханные песни

я людям сочиню.

Рожденные дыханьем

твоей большой любви,

их чудное звучанье

наградой назови.

Январь, 1951

\* \* \*

Веселый ветер струнами

играет над тобой...

О чем, березка юная,

в ответ шумишь листвой?

Он вроде бы ровесник твой,

как раз тебе под стать.

И завлекает песнями

за облака слетать.

Но ветру верить можно ли?

Он, парень озорной,

гуляет меж березками —

то к этой, то к другой.

И ты, зеленокудрая,

упрямо смотришь ввысь.

Такое целомудрие —

хоть в пояс поклонись.

1951

СТИХИ О ПОКИНУТОМ ПСЕ

Зима. Холода наступили всерьез,

свистела и выла метель.

Плутал по окраине города пес,

покинутый пес, спаниель.

...Он долго кружил. А когда изнемог,

когда уже не было сил,

клубком у чужого сарая лег

и жалобно заскулил.

Но взялся за доброе дело мороз,

дохнул леденящим теплом,

забылся усталый, обманутый пес

глубоким, спасительным сном.

И в грезах он снова увидел себя

веселым красавцем щенком.

Хозяин, балуя его и любя,

пахучим поил молоком...

Он вырос, он службу охотничью нес,

хозяин им хвастал всегда.

Но время пришло — состарился пес,

стал нюх — никуда!.. И тогда

в машину позвали. Не чуя беду,

ласкался к хозяину он.

И вдруг, словно рухлядь, на полном ходу

из «Волги; был вышвырнут вон!..

И нет уже грез. Не раскрыть ему глаз.

Его хоронила метель...

Хозяин лежал на тахте в этот час,

с ним юный дремал спаниель...

1952

ВОЕНКОМ

Черный флаг болтался на штыке.

Черный ворон в мутном небе реял...

В маленьком волынском городке

резали

петлюровцы

евреев.

Груда изуродованных тел —

жуткий след кровавого погрома...

Но каким-то чудом уцелел

сын возницы — пятилетний Сема.

Приютила кроху-сироту

украинка, добрая соседка.

Чем смогла, прикрыла наготу,

от бандитов прятала. Нередко...

Берегла его тревожный сон,

и еду, и ласку даровала.

Все ж порою горько плакал он:

матери родной недоставало.

Где ты, ночь? И где начало дня?

Грабежи,

насилия,

«реформы»...

Был для Семы пострашней огня

даже просто вид военной формы —

«синий»,

«желтый» —

как их разобрать?

Что за батька? И какой он масти?

Та, что Семе заменила мать,

причитала: — Ой, якэ нещастя!

Щоб скориш прыйшлы бильшовыкы,

може, свитло, може, краще будэ...

—    Тетю, тетю, хто воны таки?

—    Кажуть, хлопче, справедливы люды.

Дул весенний свежий ветерок,

в чистом небе солнце полыхало.

В маленький волынский городок

конница

Буденного

вступала.

Марш играл оркестр духовой,

в седлах в такт качались музыканты —

яркая звезда над головой,

на шинелях — пламенные банты.

Это явь, свершение, не сон:

городок от ужасов раскован.

...Конница ушла, но эскадрон

был оставлен и расквартирован.

Рано поседевший военком,

миновав проулок незнакомый,

постучался тихо вечерком

в двери хаты, где ютился Сема.

Только он ступил через порог —

высоченный, кобура с наганом, —

жар и холод с головы до ног

охватили сразу мальчугана.

Задрожав, не помня ничего,

без оглядки он шмыгнул в подпечек.

Удивился военком:

— Чего

испугался этот человечек?

Неужель такой уж страшный я?

Иль усами рыжими пугаю?..

—    Сгублена у хлопчика семья...

вин — еврей...

— Ах, вон что! Понимаю!..

Мы бандюгам не дадим уйти...

Хорошо, что ты, парнишка, выжил,

ты меня не бойся, выходи,

я тебя, вихрастый, не обижу.

Чует правду детская душа.

Словом человеческим влекомый,

все еще робея, чуть дыша,

из-под печки показался Сема.

Словно взмытый сильною волной,

на плече он оказался разом!

— Здравствуй, хлопчик!

Здравствуй, дорогой!

Ишь ты, постреленок черномазый!

Ты совсем как мой сынишка Глеб,

только тот курносенький да русый.

На-ка, ешь красноармейский хлеб.

Он хоть черный,

но, ей-Богу, вкусный!

...Проплывали песни в стороне,

военком мечтал неторопливо:

«Будет он расти в большой стране

равноправный,

вольный

и счастливый.

Будет та страна — родная мать

украинцу,

русскому,

еврею...

Кто ж его посмеет притеснять —

разве ж только контры да злодеи?!»

Лунный свет струился за окном.

На пол полутень бросали рамы.

Спал мальчонка безмятежным сном,

словно бы в объятиях у мамы.

1953

\* \* \*

Весна рисует красками,

прозрачными и легкими.

Доносит ветер ласковый

мелодии далекие

страны раздолья птичьего,

цветов благоухания...

У сердца у девичьего

весенние страдания.

А голубь над голубкою

воркует, машет крыльями...

Весна бушует вьюгою

в пьянящем изобилии.

В просторы светло-синие

швыряет солнце золото,

годами обессиленный

глядит сегодня молодо.

Весна рисует красками,

прозрачными и легкими,

доносит ветер ласковый

мелодии далекие...

1954

\* \* \*

С неба веет холодом —

осень у двора.

Улетает молодость —

светлая пора.

Улетает страстная,

ей возврата нет.

— Погоди, прекрасная! —

я кричу ей вслед. —

Мне тропой неторною

далеко идти,

как же неупорному

пролагать пути?

Мне за словом-золотом

плыть в разгул волны,

а с тобою, молодость,

бури не страшны!

...Только веет холодом

осень у двора.

Улетает молодость —

светлая пора.

1954

\* \* \*

Товарищ мой, спутник мой верный,

над нами густы облака.

И в том виноват я, наверно,

что доля твоя нелегка.

Не зван я тобой и не прошен,

под шепот всесильной любви

взвалил я тяжелую ношу

на хрупкие плечи твои.

...Окно в предрассветной вуали

скрывало суровый простор.

Те дни уж давно миновали...

Кремнистой дорогой с тех пор

веду я тебя в неизвестность,

упрямо веду и веду,

чтоб где-то на своде небесном

зажечь золотую звезду.

1954

МЕТЕЛЬ В АПРЕЛЕ

Замела метелица —

замерла капель.

И совсем не верится,

что пришел апрель.

Ветер так и носится

в снежной кутерьме!

До чего ж не хочется

уходить зиме.

Не мети, метелица —

буйна голова!

Слышишь, как шевелится

новая трава?

Только призадумались

быстрые ручьи,

только пригорюнились

прыткие грачи.

Гнется, не ломается

юная сосна...

Солнце разгуляется —

забурлит весна!

/955

\* \* \*

Как хорошо!

Деревьев разговор

и ветерка

сосновое дыханье,

полей

ковровый

праздничный узор

и радостное птичье щебетанье.

Густых садов

душистый цветопад,

росинки на траве,

как изумруды...

Таким июнь был

тыщи лет назад,

таким —

тысячелетия он будет.

\* \* \*

Я уже прошел сорокалетье

И взлелеял дерзкие мечты.

Кто сказал, что на зеленых ветка

Появились желтые листы?

Нет, неправда, осень не посмела

Прикоснуться к веткам молодым.

Это только наступает зрелость,

Созревают первые плоды.

1955

\* \* \*

Ты видишь, осень на дворе,

хоть и стоит теплынь.

Но даже в ясном октябре

с морозцем неба синь.

Пусть день иной на май похож —

сиянием залит,

но где-то рядом долгий дождь

то льет, то моросит...

Нет, не разбудит на заре

тебя весенний гром,

а без пернатых в октябре

лес — опустелый дом.

1955

СКУКА

Входит в квартиру

без стука

скука.

Без просьбы,

без приглашены!,

просто так,

чтоб замедлить движенья,

чтоб взор пригасить

или солнце затмить.

Все равно...

Вдруг померкло окно.

Голос вялый

тягуч и случаен:

— Посиди, погляди,

раз за разом зевни...

Все в тени,

все в тени...

Что поделать —

давай поскучаем!

Что поделать? Давай.

Может, сядем за чай?

Может, выйти из дома —

размяться?

Вот надену пальто...

Нет, не то... Нет, не то...

Сколько времени?

Скоро двенадцать?

Или три?..

Все равно —

что светло, что темно...

Почитать бы хоть книжицу, что ли?

Двор соседний изрыт,

дом соседний покрыт

будто шифером,

будто бы толем...

Входит в квартиру

без стука

скука —

прескверная штука!..

1955

\* \* \*

В жизни есть подъемы и обрывы,

лазанье,

шагание,

полет,

грусть и радость,

робость и порывы,

пламень чувств

и остыванья лед...

Да, такой дана нам свыше участь,

только в том суровой правды нить,

чтоб, дерзая, радуясь и мучась,

каждый час свою судьбу творить.

Счастье ведь не только постоянство,

неизменное сиянье крыш...

Хорошо, что на земном пространстве

грозы есть и есть немая тишь,

Есть подъемы, спуски и обрывы,

Лазанье,

шагание,

полет,

Грусть и радость,

робость и порывы,

Пламень чувств

и остыванья лед.

1956

САПЕРЫ

Закат догорает багровым свеченьем,

снаряды сверлят высоту.

В глубоких траншеях, на крае переднем

солдаты стоят на посту.

Война притаилась на ржавом приколе,

отдышится — вздыбится вновь.

Лежит пред окопами мертвое поле —

травы порыжелой покров.

Молчит, будто дремлет

под дымкою мглистой:

«Я — глухонемое, поверь...»

Нет, лжешь,

ты — распластанный,

злобный, когтистый,

готовый наброситься зверь.

Под каждым клочком твоим

спрятаны мины

размеров любых и сортов...

Предательской робости нет и в помине,

сапер с тобой к схватке готов!

Кромешную ночь прорезают ракеты,

погаснут — не видно ни зги...

Сегодня —

граница советская это.

А дальше?

А дальше — враги!

Ракета взвивается под небосводом,

и тень припадает к земле.

Погасла.

И снова на ощупь проходы

сапер пролагает во мгле.

А с той стороны над ночною равниной

строчит пулемет, кряхтит миномет...

Сапер, как пружина, у мины за миной

он жала змеиные рвет.

Он чуток и точен в малейшем движенье,

хирургу-врачу он сродни.

Герои-солдаты на крае переднем,

саперы — у них впереди.

Они открывают ворота для боя,

сбивая с них минный запор.

Ну как не назвать тебя дважды героем,

солдат всемогущий — сапер?

ВЕТРЫ

Дуют ветры!

Дуют ветры!

Теплые весенние,

влажные осенние,

сухие, соленые,

ночные,

полудённые,

зимние жесткие,

жгучие,

хлесткие...

Сами себя погоняют,

сами себя догоняют,

щелкнут плетью упругой –

вьюга!

Рвутся провода,

и бараньи стада

где-то сгрудились

с перепугу.

Жаль кудрявых,

право.

Дует ветер,

пронзительный ветер,

гнутся деревья,

ломаются ветви,

море гудит,

поднимает волну.

Разбитый корабль —

камнем ко дну...

Больно за ветви...

Жаль корабля...

Но если б не ветры —

зачахла б Земля!

1957

\* \* \*

Тебе сегодня тридцать пять.

Круты ступени восхожденья...

Я не устану повторять:

благословен твой день рожденья.

Морозным утром декабря

того немеркнущего года

зарделась алая заря

на зимней кромке небосвода.

Она струила теплый свет

и надо мной, и над тобою...

И стала через много лет

моей надеждой и судьбою.

1957

\* \* \*

Казалась легкой мне дорога,

по ней шагал я не спеша.

Высок достаток, слава Богу,

Чего ж еще?

Но вот душа!..

Она совсем не то хотела,

протестовала неспроста:

я ублажал и полнил тело —

душа была почти пуста.

И вдруг уразумел:

я — нищий,

убог души моей накал.

С тех пор я неустанно пищу

повсюду для нее искал.

И находил, а ей все мало:

давай еще, давай вдвойне,

еще во что бы то ни стало,

в траншеях даже, на войне!

Душа заставила солдата

под грохот бомб, снарядов вой

смотреть восходы и закаты

над адовой передовой...

В сорок шестом, в весеннем парке,

вдали от дел и суеты,

я созерцал душе подарки —

послевоенные цветы.

Не знал достатка даже в хлебе,

в клетушке обитал пустой,

но любовался солнцем, небом,

земной

волшебной красотой.

Душа моя!

Я ей подвластен,

куда там блага и покой!

Вы знаете,

какое счастье

жить

с ненасытною душой?!

1957

БАЛЛАДА О ПОЛКОВОМ ЗНАМЕНИ

— Нас мало осталось.

Деремся пока.

Но из кольца не уйти.

Туго, — сказал командир полка, —

знамя надо спасти.

Где не прорвется сотня бойцов —

три проскользнут во тьме.

Лейтенант Иванов,

сержант Кравцов,

боец Железнов — ко мне!

Пылал как пламя багровый закат,

«юнкерс» над степью кружил.

С древка полотнище снял лейтенант,

знаменем грудь обвил.

—    Будет приказ, товарищ майор,

выполнен точь-в-точь.

Солнце свалилось за косогор.

Трое ушли в ночь.

...Теплое утро. Травы кругом —

грезится им покос.

Снайпер фашистский

за дальним бугром

зверем

в траву врос.

Вскинул винтовку. Мушка-крест

ловит фуражки кант.

Выстрел вспугнул тишину окрест —

навзничь упал лейтенант...

Теперь сержант знаменосцем стал.

Сколько еще идти!

Двое идут.

За верстою верста.

Но что это там, на пути?

Сержант рукой вперед указал,

передал знамя солдату, сказал:

—    Слушай меня. Приказ таков:

я пойду впереди,

ты на дистанции в двести шагов

следом за мной иди.

Боец выполняет точно приказ —

двести шагов просвет.

Взрыв!.. И будто бы искры из глаз!

Дым... И сержанта нет...

...Шагает солдат один вперед.

Хлеба осталось — пустяк.

Мокнет рубаха, сохнет рот,

вышел до крошки табак.

А двигаться надо — устал не устал!

Этого требуют долг и устав.

...Из облака вынырнул «мессершмит»,

снизился, сбавил газ.

У пулемета летчик-бандит

злобно прищурил глаз.

Глянул в прицел,

гашетку нажал —

хлынула

сотня

огненных

жал...

В степи широкой,

ни мертв ни жив,

солдат одиноко

ничком лежит.

Не слышит ветра,

не видит снов,

из рваной раны

сочится кровь...

Сколько лежал он —

день или два?

Вспомнить потом не мог.

Очнулся.

Свинцом налита голова,

не чувствует рук и ног.

...Перемешался орудий раскат

с грохотом летних гроз.

Полуживой, изможденный солдат

утром к своим приполз.

Едва груди коснулась рука:

— Вот оно...

Знамя родного полка.

1958

БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ

Люди мира, на минуту встаньте!

Слушайте,

слушайте:

гудит со всех сторон —

это раздается в Бухенвальде

колокольный звон.

Это возродилась и окрепла

в медном гуле праведная кровь.

Это жертвы ожили из пепла

и восстали вновь.

Сотни тысяч заживо сожженных

строятся, строятся

в шеренги, к ряду ряд.

Интернациональные колонны

с нами говорят:

—    Слышите громовые раскаты?

Это не гроза, не ураган —

это, вихрем атомным объятый,

стонет океан,

Тихий океан.

Люди мира, на минуту встаньте!

Слушайте,

слушайте:

гудит со всех сторон —

это раздается в Бухенвальде

колокольный звон.

Звон плывет,

плывет

над всей Землею,

и гудит взволнованно эфир:

—    Люди мира, будьте зорче втрое,

берегите мир,

берегите мир!

1958

**СОКОЛ**

На белой безбрежной пустыне

сверкают хрусталики звезд.

На улице — лютый мороз:

все стынет,

все стынет...

И кажется, стуже такой

живое должно покориться.

Но гордая, смелая птица

летит над трескучей землей.

То сокол. Он смеет дерзать

и в грозы, и в стужи.

Морозу его не сковать —

лишь крылья упруже!

1958

\* \* \*

Ты смеешь к звездам трассы пролагать,

в расцвете сил и разума мужчина.

А маленькая, щупленькая мать

едва рукой плечо достанет сына.

В далеком детстве, много лет назад,

тебе горячка ноги подкосила.

И где-то у кладбищенских оград

принять тебя готовилась могила.

Уже рыдали близкие, скорбя,

поставили и свечи к изголовью...

Но мать у смерти вырвала тебя

своей всепобеждающей любовью.

В расцвете сил, удачливый и смелый,

ты матери ответил той же мерой?

1959

\* \* \*

Все в мире плод упорного труда:

крестьянин ли возделывает ниву,

возводит ли строитель города —

весь мир поет хвалу трудолюбивым.

Когда земля от стужи отошла,

копала мама в огороде грядку.

Ты был с ней рядом, и она дала

тебе в ручонки острую лопатку.

Ты помогал ей в меру детских сил.

Пусть был твой след на почве неглубоким,

но ты впервые в жизни получил

труда незаменимые уроки.

Они пошли тебе, на счастье, впрок:

твой след теперь в больших делах глубок.

1959

\* \* \*

Каким числом, какой величиной

твои измерить пешие дороги?

Наверно, обошли весь шар земной

твои в пути натруженные ноги.

Ты брал уступ, одолевал скалу,

где нету и намека на ступеньки.

А ведь когда-то, крохой, на полу

ты неуклюже полз на четвереньках.

Но мать однажды встала впереди,

твоей ручонке руку протянула.

Всем существом почувствовав: «Иди!»,

покачиваясь, ты шагнул до стула.

Нет без истока ни одной реки.

От материнской ты пошел руки.

1959

\* \* \*

Погасли в канделябрах свечи,

связалась темень

в черный бант:

в Берлине умер в этот вечер

великий русский музыкант.

Молчал рояль.

Он ждал кого-то.

В насторожённой тишине

звучала траурная нота

на оборвавшейся струне...

Белей чем мрамор

лоб открытый,

виски в поблекшем серебре.

На смертном ложе композитор

лежал,

как ратник на горе.

И с этой величавой кручи,

неся венок из белых роз,

печаль

плыла

свинцовой тучей

туда,

где русский гений рос.

Бежало страшное известье

из дома в дом,

из дома в дом.

Деревни, города, предместья

скорбели о певце своем.

И Славу пела вся Россия,

как океан, тот хор звучал...

Пред Глинкой смерть была

бессильна —

он песнею народной стал!

1959

\* \* \*

Владелец удивительных богатств,

так горделиво голову несущий,

балованный изысканностью яств,

ты не забыл, что значит хлеб насущный?

Тот самый хлеб, который каждый час

как воздух нужен каждому на свете,

с ним день весенний восхищает нас,

а нет его — и солнце нам не светит.

...В голодный год тащилась мать с сумой.

И выпросив где корки, где картошки,

спешила, исхудавшая, домой —

отдать тебе все до последней крошки.

А как без этих выстраданных крох

ты уцелеть и вырасти бы мог?

1959

\* \* \*

Кто раз-другой бессовестно солгал,

с тем совесть никогда дружить не сможет.

Как разъедает ржавчина металл,

так ложь неумолимо душу гложет.

А человек с прогнившею душой

не избежит неотвратимой мести.

Приговорен к позору сам собой,

святыню променявший на бесчестье.

Ты не умеешь и не хочешь лгать.

В той чистоте — твоя краса и сила.

Тебя с пеленок наставляла мать

и кривду ненавидеть научила.

Она тебя оберегла от лжи.

Спасибо ей сыновнее скажи.

1959

МИЛОСЕРДИЕ

Неправды здесь ни капли нет.

Лежал на койке госпитальной

полумертвец.

И падал свет

на странный взгляд его, печальный.

Не то уснул, не то дремал он,

укрытый мягким одеялом,

не то утих он навсегда

и погрузился в вечный холод...

Врач-капитан промолвил: — Да...

А жаль, солдат еще так молод!

Спускалась ночь.

Спускалась клеть

в подвал, в сырое подземелье...

Приблизилась неслышно Смерть,

уселась на краю постели.

—    Ну что ж, пора и на покой, —

сказала сипло, глуховато.

Солдат отвел ее рукой:

—    Нет, врешь, старуха, рановато,

до срока не хочу истлеть

твоим, карга, сожженный зельем!

Всю ночь покачивалась клеть

меж койкою и подземельем.

Ломало утро рубежи.

Солдат откинул одеяло...

у койки девушка стояла

и ласково спросила: — Жив?

Солдату протянула руку

и положила на плечо.

А он, все видя ту старуху,

шептал в бреду: — Мне горячо...

В пространстве сумрачном, безбрежном,

кровать качалась и плыла.

Пред ним в одежде белоснежной

сама Снегурочка была.

Но не из сказочного царства —

из лебединых рук ее

он принял воду и лекарство,

впадая снова в забытье.

А Смерть невидимо сидела

у изголовия его.

—    Старайся, девка, это — дело,

хе-хе... Посмотрим, кто — кого?..

Моя коса остра как бритва...

Двенадцать суток длилась битва.

Сестра махала полотенцем,

дул на больного ветерок,

кормила с ложки, как младенца,

за каждый радуясь глоток.

А он смотрел в глаза сестренке —

как много было в них тепла,

из них, казалось, струйкой тонкой

солдату в сердце жизнь текла...

Старалась Смерть.

Но как на камень

наткнулась вдруг ее коса.

Старуха развела руками

и прохрипела:

— Чудеса!

Веками я живых косила.

А тут, поди, девчушка, вот!..

И от солдата отступила:

—    А ну вас! Дел невпроворот!

Солдат и до сих пор живет!

1959

\* \* \*

Часами мы толпимся у холста:

деревья, пруд, кувшинками покрытый, —

обычная земная красота

нам кажется чарующим открытьем.

Художник ты. И это полотно

тебя за все труды вознаградило.

А помнишь ты, как мать давным-давно

земную красоту тебе открыла?

Она тебя водила по лугам

и по лесным извилистым тропинкам,

учила слушать утром птичий гам,

показывала каждую травинку...

Наследником ее высоких чувств

ты в мир вошел и стал жрецом искусств.

1959

\* \* \*

Есть край у океанов и лесов,

есть даже у галактик очертанья.

Но безгранична матери любовь,

вместившая в себя все мирозданье.

В ее глазах — не отраженье дня,

не преломленье солнечного света.

Они — источник вечного огня,

без матери зачахла бы планета.

Ей с уваженьем в пояс поклонись,

она того сторицей заслужила.

Тебе она открыла неба высь,

и кровь ее в твоих струится жилах.

Ты можешь все молитвы отвергать,

но помни как святыню слово — Мать!

1959

\* \* \*

В весеннем небе,

трепетный, незримый,

поет, поет

певец неповторимый.

Как этот голос

серебрист и звонок,

как он взмывает

в голубую высь!

Солирует над пашней

жаворонок...

Глядите, люди,

как прекрасна жизнь!

Тепло и радость

в акварельной шири,

дыши и наслаждайся, человек!

В своем огромном

благодатном мире

мир нерушимый утверди навек.

Вдруг над Землей, как призрак,

гриб огромный,

его взметнула ядерная бомба!

Что может быть

страшнее и нелепей:

удар!..

Ни жизни, ни певца — пустыня. Пепел...

1959

ГРОЗА НАД РЕКОЙ

Еще раскаты грома вдалеке,

еще полнеба в солнечном свеченье...

Еще в непотревоженной реке

едва дрожит деревьев отраженье.

Видением серебряный наряд

дугой взметнула над водою рыба...

И вдруг сверкнул меж тучами разряд,

и сорвалась грохочущая глыба!

В короткой схватке побежден покой,

и ветер налетает из-за леса,

он мечется и свищет над рекой,

и хлынул ливень дымчатой завесой...

То вспышка молнии слепит глаза,

то берега покрыты полутьмою...

Разбушевалась над рекой гроза,

горой волну вздымая над волною.

Но вот из мрака белый

пароход внезапно, словно в сказке, вырастает,

плывет он гордо, не сбавляя ход...

И кажется: стихия утихает,

и кажется: светлеет небосвод...

1959

\* \* \*

Земля, Земля — планета голубая,

с высот волшебным кажется твой свет.

Ты все еще такая молодая,

зовущая — и в миллиарды лет!

К тебе корабль, быть может, направляют

с другого мира. В дальнем далеке

не ведают, планета голубая,

что жизнь твоя висит на волоске.

Так пусть, когда, преодолев пределы,

те космонавты на тебя сойдут,

не мертвою пустыней обгорелой —

красавицей живой тебя найдут.

Где чаша счастья до краев полна,

где навсегда повержена война!

1960

\* \* \*

Колышет ветер голубое знамя.

Рассветный час молчанием объят.

Холмы в степях. Под этими холмами

герои наши непробудно спят.

Их обожгли в боях жестоких пули,

и свет померк, и гулкий гром затих...

Они на запад руки протянули,

зовя вперед однополчан своих.

Среди цветов, у памятника, чаша,

а в ней огонь и день и ночь горит,

огонь, зажженный в честь героев павших.

Бросает пламя отсвет на гранит.

1960

ПАМЯТНИК

                      М. Горькому

Художника искусная рука

резцом запечатлела на века,

как человек

без устали

шагал

и лишь затем взошел

на пьедестал,

чтоб с высоты

далёко заглянуть

и вновь продолжить

свой отважный путь.

Стоит на пьедестале Человек

и зорко смотрит в следующий век.

1960

МОЙ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

Мещане, не глядите, Бога ради,

на мой невзрачный,

неприметный садик.

И что в нем есть,

какая красота?

Пять тонких вишен шубинской породы,

жасмина куст,

сирени два куста,

а прочее — картошка в огороде.

Пожалуй, все.

Какая радость зренью?

Мещане, отворачивайте взгляд.

Вы скажете:

—    Пародия на сад.

Я говорю:

—    Источник вдохновенья.

Хотите — верьте мне, хотите — нет:

здесь мой рабочий кабинет.

Мой кабинет —

в каких-нибудь два метра,

но он со всех сторон

открыт для ветра.

Над головой —

душистый куст сирени,

вишневые деревья —

по бокам.

Я защищен ажурной, легкой тенью.

Стихи — на солнце.

Хорошо стихам!

1961

СЕСТРЫ

Веками бытует в народе

поверье на русской земле:

однажды встречаются вроде

Зима и Весна в феврале.

Метет по полям и дорогам

густыми снегами пурга,

идет по февральским сугробам

Зима — величава, строга,

соболья роскошная шуба,

пуховая шаль на плечах,

очерчены свежие губы,

надменность в холодных очах...

Шагает по скованной речке,

склонился Мороз перед ней:

— Живи, наша матушка, вечно,

богатством несметным владей!

Гуляй по бескрайним просторам!

А службу мою ты учти...

Взглянула. А что в этом взоре?

Попробуй узнай и прочти.

По нраву ль ей верные слуги?

Нужны ли ей горы добра?

Спешит к ней дыханием юга

Весна — молодая сестра.

Беседа меж ними иль сговор —

кто может язык их понять?

А небо нахмурилось снова,

и вьюга пахнула опять...

Зима загрустила, роняет

в тревожном раздумье слезу:

не видеть ей яркого мая,

не слушать ночами грозу...

1961

СНЕЖИНКИ ПАДАЮТ

Над лесом,

над застывшею рекой,

над полем

и над каждою ложбинкой —

царит повсюду в этот час

покой...

Снежинки кружатся,

и падают снежинки.

Гуляет свадьба!

Песни, пир горой,

звучат магнитофоны, грампластинки.

Шагает с первенцем

родитель молодой...

Снежинки кружатся,

и падают снежинки.

Мальчонка за салазками бежит,

в его глазах —

задорные искринки!..

Как хорошо

на этом свете жить!

Снежинки кружатся,

и падают снежинки.

Крестьянка натопила жарко печь

и разлила удой вечерний в крынки,

готовит тесто, чтобы хлеб испечь...

Снежинки кружатся, и падают снежинки.

По радио читает диктор речь,

о смерти ядерной вещает без запинки.

Над всей Землей

висит дамоклов меч!

Снежинки кружатся,

и падают снежинки...

1961

\* \* \*

Вспоминается наступленье:

гром орудий, в дыму небосвод.

Зимний день боевого крещенья,

мой родной атакующий взвод.

Беззаветно сражались ребята,

смерть косила иных на бегу...

Пятна,

пятна,

багровые пятна

на сверкающем белом снегу...

Я припал к своему пулемету,

вдруг... затих, захлебнулся бой.

А потом я очнулся в санроте,

с перевязанной головой.

В полумраке увидел сестрицу

на бессонном ее посту.

Попросил: «Дай попить водицы.

Пересохло совсем во рту...»

Этот день я сквозь годы вижу

и забыть никогда не смогу.

Фронтовую армейскую книжку

как реликвию берегу.

И горжусь, что в пехотной части

пулеметчиком был рядовым.

Это очень большое счастье:

возвратиться с Победой живым!

1960

Я ПОСАДИЛ ДУБОК

Я возле дома посадил дубок

в апреле шестьдесят второго года.

Он развернул один, другой листок,

незримо потянулся к небосводу.

Погожим днем, дремотою объят,

он радовался и теплу и солнцу.

С дождем упал на первый листик

яд —

на нежный листик опустился

стронций...

В тревожный год дубок увидел свет:

бесились водородные метели,

и тысячи нацеленных ракет

едва-едва над миром не взлетели,

едва-едва не оборвалась нить...

Но разум встал

безумию заслоном.

Как верить хочется:

тебе, дубок мой, жить,

расти, мужать, шуметь могучей кроной,

ветвями задевать за облака,

увидеть те заманчивые дали,

те новые и светлые века —

о них мы и мечтаем, и мечтали.

Коль сбудется, тогда, в расцвете сил,

ты расскажи грядущим поколеньям,

кто спас тебя — младенцем —

от сожженья,

кто жизнь

от истребленья

защитил.

1962

ДЕКАБРЬ

Декабрь —

дикарь.

Заметет,

завьюжит,

засвистит,

закружит,

скует, проморозит реки,

в шубу загонит человека.

Завоет...

Землю снегами покроет.

И выше

волну за волной гонит по крыше.

Еду от пернатых упрячет...

Лошадь бежит в упряжке,

бока в серебристом инее...

Мороз.

Небо, как лед, мутно-синее.

Не надо кнута — бежит сама.

Холодно.

Можно сойти с ума!

А в комнате теплой

раскрыт календарь.

На листике —

черным по белу — «декабрь».

Явился он точно.

Выходит, что зря

его я рисую как дикаря.

Озимые он по-хозяйски укрыл,

сады и леса он ветрами промыл.

Ты в голое дерево зорче вглядись

и сразу заметишь:

в нем теплится жизнь...

Над трубами сизые

валят дымы...

Начало зимы —

среднерусской зимы.

1962

\* \* \*

Я у поверий не бывал в плену,

к приметам нет особого доверья.

Но лишь одну из них не премину:

коль новый год раскрыл широко двери

и календарь свои первый развернул

листок,

я должен написать хоть пару строк,

как говорится, положить начало,

чтоб муза мне без устали шептала

и день за днем бурлил стихов поток.

Да будь неиссякаемым, исток!

1963

ЛЕБЕДЬ

Пруд в серебряных бликах,

в окруженье ветвей.

Слышны трубные клики —

брачный зов лебедей.

Лишь один — изваянье,

голова под крылом:

у него поминанье

о былом, о былом...

Вспоминается: вьюга

все метет и метет.

Заболела подруга:

и не ест, и не пьет...

Но в какое-то утро

пробудилась она,

показалось, как будто

снова силы полна.

Встрепенулась всем телом,

был коротким разбег...

В небеса не взлетела —

только врезалась в снег!..

Злобно выли метели,

и поземка мела.

Может, дни пролетели,

может, вечность прошла...

Иль весна на распутье

задудела в дуду?

Лебедь все перепутал

как во сне, как в бреду...

То не ложь и не лепет,

это с правдой в ладу:

горем скованный лебедь

на весеннем пруду...

1963

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

Как в лесу весною поздней

обручался дуб с березой.

Лес полянки украшал,

молодым добра желал.

Хороша была гулянка:

чудо-скатерть, самобранка,

расстилалась для гостей —

что угодно ешь и пей!

Захмелев от браги майской,

старый клен пустился в пляску,

елки, юные сосенки

хоровод вели в сторонке.

После свадьбы, честь по чести,

дуб с березой жили вместе,

в ясный день и в черный час

их согласья свет не гас.

Так в любви струились годы,

словно быстрой речки воды.

...Роковая ночь пришла,

и береза умерла.

Но никто при расставанье

не видал его страданий,

но никто слыхать не мог

по ночам тяжелый вздох...

То ли дождь приносят грозы?

То ли дуб роняет слезы?

Седина на нем иль снег?

Дуб один который век...

1963

\* \* \*

Всё как будто бы так, как вчера:

и такой же денек настоящий,

и теплынь,

и прохлада утра,

солнца луч,

на рассвете звенящий,

шепот сосен на тихой заре,

в полдень — шумный базар воробьиный,

и кудахтанье кур во дворе,

у забора все та же рябина,

то же лето — цветенья пора,

над цветами пчела золотая...

Всё как будто бы так, как вчера,

но чего-то сейчас не хватает.

Что — внезапно уехал мой друг,

очень близкий и очень сердечный?

Нет, он рядом.

Гляжу я вокруг:

вот и сад, а над садом — скворечня,

милый домик, пернатых дворец,

ветер ветки над крышей качает...

Я не раз наблюдал, как скворец

то и дело к птенцам прилетает.

А сегодня скворцы не летят —

всей семьей, видно, домик покинут.

Я, невольно тоскою объят,

отчего-то на сердце пустынно...

Что ж поделать?

Приходит пора —

и пустеют не только скворечни...

Всё как будто бы так, как вчера,

здешне всё

и как будто нездешне.

1963

\* \* \*

Вот уж старость моя по соседству,

тянет северным ветерком.

Почему ж не расстанусь я с детством,

Несмышленыш, но с мудрым умом?

У меня есть завидная слава.

Покорил я далекую высь.

Отчего же тоска, как отрава,

каждый час омрачает мне жизнь?!

1963

МОРЕ ВОССТАВШЕЕ

Обвал за обвалом...

Неистовый бой!

Грохочущим валом

стреляет прибой.

А брызги взлетают

до самых небес,

под пеною тает

крутой волнорез.

Содом и Гоморра!

Гоморра, Содом!

Восставшее море

идет напролом!

Здесь нету покоя,

светло и темно,

живое,

живое,

живое оно!

Здесь нету покоя,

ныряют огни...

Такое,

такое мне море сродни.

Стою возле пирса,

дышать мне легко,

я взглядом вцепился,

гляжу далеко...

Как хочется слиться

с кипящей волной,

чтоб стать хоть частицей

стихии взрывной!

1963

\* \* \*

Судьба ухмыльнулась:

какой же он прыткий!

Помучить упорных особо люблю...

Ему я такие придумаю пытки,

что сам для спасенья

полезет в петлю.

И сразу за дело.

В глазах потемнело,

средь белого дня

он не видит ни зги.

Вот-вот упадет

ослабевшее тело,

дух вон...

Торжествуйте победу, враги!

Не рано ль?

На то есть второе дыханье,

в запасе душа —

не душонка раба.

На снежной дороге —

теней колыханье:

к ногам Человека

склонилась

Судьба.

1963

ПРАВДА

В упор глядишь глазами строгими.

Порой крута и грубовата.

Ты по Земле веками долгими

шагаешь поступью солдата.

И не в обход — путями торными,

а напрямик, по бездорожью.

Бесстрашная и непокорная,

всегда воюешь насмерть с ложью.

Непобедимая, великая,

тебе я с детства дал присягу.

Всю жизнь с тобой я горе мыкаю,

но за тебя костьми я лягу.

1963

\* \* \*

Зима.

Декабрь.

Коротенькие дни.

В четыре зажигаются огни.

И этот краткий день,

и этот долгий вечер

тяжелым грузом

валятся на плечи.

Шагаю

от угла

и до угла.

Ползут часы...

Меж облаков,

без блеска,

чуть свет мелькнет —

в окошке снова мгла.

Хотя б куда-нибудь

далекая поездка!

А может, снова

стать в солдатский строй

и — марш вперед,

сквозь колкие метели?

Куда там! Стар!..

И вечер надо мной,

и, как назло,

томящее безделье.

Пора такая для меня страшна,

страшнее,

чем на фронте тишина.

Нет, я не жду весеннюю лазурь,

ни долгих дней, июньской позолоты.

Не надо мне десятибалльных бурь —

я жажду

исцеляющей работы!

Но, чу!

Я слышу мелодичный звук:

ко мне опять пожаловала муза,

и вновь вернулась легкокрылость рук,

и плечи расстаются

с тяжким грузом.

К чертям хандру!

Кто врет, что скоро старость?

Работа — взлет!

Безделие — усталость!

1963

ЗЕМНАЯ МАТЬ

Прекрасная,

с младенцем на руках,

в одеждах скромных,

стройная, босая,

она ступает в легких облаках,

свой ясный взор к народам обращая.

В нем все слилось:

и лучезарный свет,

тревога,

боль,

упрек и вдохновенье.

Но не ищите, не найдете —

нет

в ее глазах покорного смиренья.

Она не Божья Матерь,

просто — мать,

земная мать,

с большим и смелым сердцем.

Она не хочет в жертву отдавать

рожденного в страданиях младенца.

Он — не Христос,

не маленький святой,

на муки,

на распятье обреченный.

Малец-крепыш с кудрявой головой —

он будущий строитель, иль ученый,

иль первооткрыватель на Луне,

писатель, предающийся раздумьям...

Так почему сгореть ему в огне

на жертвеннике злобного безумья?!

Вершители судьбы материков,

на вас глядит Сикстинская мадонна.

Она пришла

из глубины веков —

судья и обличитель.

Не икона!

Она совсем не там, «на небеси»,

а рядом,

и, хотите не хотите,

как сам «наместник Бога»,

папа Сикст,

пред ней благоговейно преклонитесь.

Бессмертная,

она превыше вас

великая в своем молчанье грозном,

она предупреждает в этот час:

— Опомнитесь,

пока еще не поздно!

Предотвратите атомный пожар:

в нем никуда от гибели не деться.

Пускай Земля —

наш кров,

наш добрый шар —

пребудет

мирной цитаделью детства!

1964

\* \* \*

Который месяц и —

ни строчки!

Куда девался мой Пегас?

Неужто я дошел до точки,

неужто мой талант погас

и даже яркий день весенний

его не может пробудить?..

Наступит ли оно,

мгновенье

живительного озаренья,

иль уж талант не возродить?

Не ведаю...

А дни ползуче

без вдохновения текут,

душа и мысль

не ткут созвучий,    Я

холстов поэзии не ткут.

В оцепененье,

монотонно

моя мечта едва живет

как бы под спудом многотонным,

не в силах ринуться в полет.

Но я, как прежде, —

жажду битвы со Злом державным

за Добро.

— О Боже, — я шепчу молитву, —

вдохни огонь в мое перо,

яви, Господь, простое чудо:

раскрепости,

дай в руки меч,

чтоб мог я страстно,

жив покуда,

сердца людей

глаголом жечь!

1964

МАРТ

У нас в Москве не как на юге,

март и весна — и не весна:

то ясный день, то снова вьюги,

пруды и реки всей округи

еще не одолели сна.

Но под московским небосводом,

не дожидаясь теплых дней,

вовсю работает природа!

Ты только подглядеть сумей,

сумей увидеть и услышать

то, что иному невдомек...

Март — не капели звон под крышей,

не первый солнечный припек,

не сонных речек пробужденье

и даже не слепящий свет...

Травы

подснежное движенье,

скворцов

неприлетевших пенье

увидь, услышь,

коль ты — поэт...

1964

\* \* \*

На свете сколько б лет ни прожил я,

тот зимний день я не забуду.

Открылась дверь:

в мою прихожую

старик принес лесное чудо,

пушистое и благородное,

не елочка — а загляденье.

И так сказал:

— В ночь новогоднюю

пусть будет в доме украшенье.

А вечером, как полагается,

на самом на почетном месте

свою нежданную красавицу

мы нарядили, как невесту.

С гостями в полночь дружно чокались,

вино разгорячило лица,

так звучно каблуками топали —

аж затрещали половицы!..

Мне это навсегда запомнится:

как свечи, лампочки мерцали.

Была та елочка — покойница.

А мы вокруг нее плясали...

1964

\* \* \*

Присядь, мой друг, поговорим.

Не знаю, что со мною сталось.

Идут года, и мы горим...

А сколько мне гореть осталось,

гореть, чтоб — пламенем душа

и жаркое сердцебиенье?

Так отчего же тише шаг

и все замедленней движенья?

Все тот же луг, все тот же сад

в цветенье яблонь розоватом.

Все так, как много лет назад...

Да я не тот, что был когда-то.

Иль хмурый день, иль меркнет свет

и рано наступает вечер?..

Не много лет, а много бед

легло таким, как я, на плечи.

Ты с удивленьем не смотри

и обо мне не думай плохо:

ведь в каждый год я прожил три!

Что тут поделаешь — эпоха!

1964

В НАШЕМ ДОМЕ

Косички — хвостики крысиные,

косые лапки журавлиные,

от язычка пощады нет.

А дальше — дорисуй портрет... ’

Блестят, как изумруды, зубки,

и чапельничком чудо-губки.

Струят глазенки ясный свет.

А дальше — дорисуй портрет...

1964

\* \* \*

Ушедший год стихом я начинал,

его и завершу своей строкою.

Я не искал спокойствия причал

и не предамся ни за что покою.

К чему покой — стоячая вода,

затянутая тухловатой тиной?

Нет, я желаю, чтоб мои года

срывались водопадами с плотины,

турбины-дни вращая без конца,

чтоб стих светил, как солнечная веха,

стучали чтоб слова мои в сердца,

будили в человеке Человека.

Я времени теченья не страшусь,

не отступлю пред бандой фарисейской.

Я — сын твой, а не пасынок, о Русь,

• хотя рожден был матерью еврейской.

В бою я защищал тебя, как мог,

мой долг высокий — Родине служенье.

Год новый наступает на порог.

Сраженье —

это жизнь моя.

Сраженье.

31 декабря 1964

\* \* \*

Сегодня волей высшей власти

мой день рожденья —

юбилей.

И нет оваций.

Это к счастью,

мне, как полынь, претит елей.

Да, время пулею несется,

чтоб пулей сердце поразить.

Ну что ж...

Сегодня светит солнце,

и надо жить,

и стоит жить.

Я не хочу пока итожить —

что людям дал,

что — задолжал.

Уже десяток пятый прожит.

Шестой...

Зеленый свет,

вокзал...

Лишь на минуту остановка,

и дальше в путь,

и дальше в путь.

В моей руке

перо—винтовка

и нету права отдохнуть.

Не знаю, сколько мне осталось

до точки той,

до тупика...

Известно: есть на свете старость,

есть обреченность старика.

Но не затем я поднял к бою

кулак с отточенным пером,

прийти чтоб к вечному покою

покорным, сытым старичком.

Дел впереди —

край непочатый!

Осуществить хотя бы треть..

Нет, я — не рупор,

я — глашатай.

Мне не положено стареть.

Август, 1965

ПТИЦЕЛОВЫ

Трещал мороз суровый.

Румяные сынки,

подростки-птицеловы,

расставили силки.

Добавив крошки хлебные

в пшено и коноплю,

воскликнули:

— Любезные,

пожалуйте в петлю!

Пернатых голод гложет,

их ветры леденят.

Но чудо!

«Птички божьи»

к приманке не летят.

Они сидят на крыше

и зорко смотрят вниз,

как будто голос слышат:

«Синицы, берегись!»

Сынки ворчат в засаде,

проходит час, другой,

старшой из них с досады

дружкам махнул рукой:

— Клади силки в карманы,

топчи приманку в снег!..

И эти, как ни странно,

войдут в грядущий век!..

1965

СТИХИ О МОДЕ

Незыблем диалектики закон,

не даст он ничему застыть на месте.

И моду непрестанно движет он:

прекрасный пол

одет в костюм из... жести!

А может, из дюраля?

Все равно —

сшивают и медяшку, и жестянку.

Дивитесь, люди:

вам узреть дано

земную

парижанку — «марсианку»!

Жакет из треугольничков звенит,

и возле бедер юбочка скрежещет,

взор «марсианки» устремлен в зенит —

одна из модных

современных женщин.

Она шагает гордо, не спеша,

как королева —

не хватает трона.

Что, у нее чугунная душа?

И, может быть, сердечко из капрона?

А мне твердят:

— Чего брюзжишь, чудак,

куда ты денешь от ракет отходы?

Ракета — сверхоружье как-никак,

диктует появление

сверхмоды...

Мы над собой вершим нелепый суд:

как урожай

безумного посева,

в «моднейших» одеяниях пройдут

по выжженной Земле

Адам и Ева.

1965

НОВОГОДНЕЕ

В квартирах свежий запах хвои,

год наступивший на ходу.

И верить хочется: плохое

осталось где-то в том году.

Но я не смею обольщаться.

Когда в домах гасили свет

и пробили часы двенадцать,

крылатых дюжину ракет

новейшей сверхубойной марки

под крик «ура»,

под рюмок звон,

как новогодние подарки, вез

по планете

эшелон...

1965

РУЧЬИ

С ветерком бегут со всех концов,

веселы,

стремительны,

шумливы,

слышны в них и звоны бубенцов,

и поющей флейты переливы.

Я люблю весенние ручьи

и слагаю песни им в угоду,

потому что первые грачи

пьют из них серебряную воду.

Я люблю весенние ручьи,

потому что, не ища подмоги,

малые, а будто силачи,

пробивают вдаль себе дороги.

Я люблю весенние ручьи,

потому что вольные, ничьи!

1966

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

У нас такая нынче дата —

превыше многих славных дат.

На той войне я был солдатом

и с бойни той пришел назад.

Быть может, это очень глупо —

нет, не во сне, а наяву

сегодня я себя ощупал:

живу я или не живу?..

Какую я тянул упряжку

сквозь дождь и снег и день и ночь...

Сказать, что это было тяжко —

неправда: было мне невмочь.

Такого адского накала

не смог бы выдержать металл.

Но чудо!.. Я не умирал,

и начиналось все сначала:

и рукопашные бои, и бездорожные дороги...

Иду, мои и не мои

тяжелые ступают ноги.

Так от утра и до утра

пехота не сбавляет шагу,

и с ходу, с криками «ура»!

— штыки вперед, вперед в атаку!

Смерть не взяла — опять вперед,

а коль взяла — так твой черед...

Но хуже: юный человек

из госпиталя — в строй калек.

У нас такая нынче дата —

превыше многих славных дат.

От бомб хранилища трещат,

грозит Земле военный атом...

Так был иль не был

сорок пятый?!

1966>

\* \* \*

Был небосвод

безоблачен, высок —

ликующая майская погода.

По клетке прыгал юный кенарок,

считалось, ни к чему ему свобода:

на жердочку садился, бойко пел,

различные он выводил «колена»

старательно. Таков его удел:

не чувствовал он униженья плена.

Хозяин дал водицу и зерно,

но позабыл захлопнуть дверцу клетки.

И... враз

невольник выпорхнул в окно

и очутился на сосновой ветке.

На небо голубое поглядел,

окинул взором солнечные дали,

взметнулся на вершину

и запел,

как кенары, наверно, не певали.

Бывал я на показах певчих птиц

и слушал знаменитых медалистов.

Но эта песнь, казалось,

без границ,

в звучании ее прозрачно-чистом

слились в одно

и радостный задор,

и звон ручья,

и трель над полем спелым...

Поймали беглеца.

И — под запор!

До самой смерти

больше так не пел он...

1966

\* \* \*

В его мозгу, болезнью воспаленном,

вдруг мир перевернулся кверху дном:

он возомнил себя Наполеоном,

потом хотел поджечь соседский дом.

Но к вечеру, когда закат погас,

был под замком безумец обреченный...

В огромном зале в этот самый час

другой безумец — властью облеченный,

кричал, да так, что взмокла голова:

«Мы десять... двадцать... стран

сметем моментом!»

Гремели сумасшедшие слова

и... вызывали шквал аплодисментов.

1966

ВОРОБЕЙ

С каким мы смотрим восхищеньем

на всемогущих птиц — орлов,

на их бесстрашное паренье

превыше гор и облаков.

Их взор, и гордый, и надменный,

к нам обращен и мимо нас.

Мы воспеваем неизменно

величие орлиных глаз.

Вокруг орла от века к веку

сияет славы ореол.

О сильном, храбром человеке

мы восклицаем: «Он — орел!»

Но вот с каким недоуменьем

вы посмотрели б на меня,

когда в своем стихотворенье

я превознес бы... воробья!..

Ну что ж, рискну! Тогда, быть может,

и ощутимей, и верней

вас удивит и растревожит

обычный серый воробей.

Его судьба совсем иная,

он не летит под облака.

Но разве жизнь его земная

благополучна и легка?

Вы думаете, это счастье —

зерно и крошки, день за днем,

искать в осеннее ненастье

под зябким проливным дождем?

Вы думаете, это просто —

когда трещит на реках лед, нет,

не пшеницу и не просо,

подклевывать — что Богa пошлет?

Он радостно встречает лето:

тепло, обильная еда!

Но снова поджидают где-то

ненастье, слякоть, холода...

В суровую эпоху нашу

я пожелал бы для себя

иметь орлиное бесстрашье

и жизнестойкость воробья.

1966

\* \* \*

Нынче август богат поливами:

каждый день всё дожди и дожди

косо падают сивыми гривами...

Значит, ясной погоды не жди.

И выходит, что лето нас бросило,

не прожив свой положенный срок.

Под окном хмурый тополь, как осенью,

и продрог, и до нитки промок...

1966

КРАСНЫЕ ИСКРЫ, ЖЕЛТЫЕ ИСКРЫ

Красные искры,

желтые искры —

праздник осенней

метелицы.

Кружатся листья,

падают листья,

падают тихо

и стелются.

Веером с веток

в мареве света

листья летят

вереницами.

И почему-то

в эти минуты

листья мне кажутся

птицами.

В первом полете,

в робком залете

трассами

очень недальними...

Но не вздыхайте,

не провожайте

стаи

глазами печальными.

Лес мой просторный

, сад мой узорный

полон

летящими листьями...

Радость в паренье

пусть на мгновенье —

первый полет и единственный.

1966

ФЕВРАЛЬ

Сколько солнца,

сколько света,

небо — в золотистых бликах.

Это верная примета,

что весна совсем уж близко.

В легком платье,

в полушалке

голубом, прозрачной вязки.

И весну почуяв, галки

на лету пустились в пляски.

Снег и тает,

и сверкает.

Вдруг зима пугнет морозом.

А февраль,

не попрекая,

говорит ей:

— Поздно, поздно,

не старайся,

не взыщи ты,

теплый ветер дует в спину.

Я — последний твой защитник,

да и то — наполовину!

Я признаюсь, я не скрою,

никуда нельзя мне деться:

меж тобою

и весною

разделилось мое сердце.

Встречу я ее

приветом,

поклонюсь ей низко, низко...

Праздник солнца,

праздник света —

знать, весна совсем уж близко!

1967

\* \* \*

Еще зима вольным-вольна,

гуляет, в шубу разодета,

а в небесах — уже весна,

весна сверкающего света.

И света вешнего напор

неистов, весел, безграничен...

Зиме выносит приговор

на звонком языке синичьем.

Еще силен коварный враг,

он сможет дать умело сдачи.

Но снег трепещет, словно флаг

капитуляции и сдачи.

Пока леса в глубоком сне,

пока земля не отогрета,

февраль открыл простор весне –

весне сверкающего света.

1967

В ЗАЩИТУ СИЗАРЕЙ

Голубь и

голод

рифмуются,

особенно в современном стиле.

Глядите, как голуби на улицах

кидаются под автомобили:

пустозобые,

в погоне за зернышком,

за тополевой пушинкой...

Любуйтесь,

в налипших перышках

рифленые, жесткие шины.

Это — картина летняя.

Зимою вдвойне хуже —

сизарики безответные

с голоду дохнут на стуже.

Правда, не все: везучие

сыты и тучны до лоска —

долю находяат лучшую

у пирожковых киосков.

Но этаких — горстка малая.

Прочих — армия нищая,

шныряющая, шалая,

в поисках Божьей пищи.

Кто кинет ошметок ватрушки,

кто бросит кусочек вареника...

Гораздо щедрее — старушки

и, как их там?.. Шизофреники!

Нормальные гордо хаживают.

На сизарей — ноль внимания:

— Ну их!.. Твари загаживают

все тротуары и здания!

А помнится времечко славное —

молодежного фестиваля —

православные

и неправославные

так сизарей ласкали!

Укармливали: хоть пирожное,

хоть самые вкусные злаки.

Места для птиц огорожены,

над ними — охранные знаки,

мол, осторожно, голуби,

символу мира — почтение!

А нынче — голуби в голоде.

Нате вам фунт презрения!

Сизарики вышли из моды...

Вот так...

Современнику —

ода!

1967

ПОЕТ ОЛЬГА КОВАЛЕВА

Слушай, Россия,

звуков полет:

Ольга Васильевна

песни поет,

просто — как травы

растут на лугах...

Просто — Любава

в рязанских лесах,

просто — на камушке

Лада сидит,

солнце над Камушкой

в воду глядит...

Волга всесильная

плавно течет —

Ольга Васильевна песни поет.

Голос хрустален,

звонок и чист,

он и печален,

он и лучист,

то он о поле,

зрелых хлебах,

то о раздолье

в белых снегах...

...Всем ли нам ведомы

те исполинские

песни дедовы,

праматеринские —

без позолоты,

а благородные,

в них и заботы,

и думы народные,

реченька синяя,

иволги взлет...

Ольга Васильевна

песни поет.

Слушаю, сам, как умею,

пою вижу родную Россию мою..

1967

\* \* \*

Сквозь тень листвы

ложатся солнца блики

на белые и красные гвоздики.

И яркие — пылают горячей,

а бледные — становятся нежней.

Колеблются, играют светотени

на лепестках прозрачнее сирени.

Красавицы садовые в цвету,

рождаются, растут и умирают,

и дарят людям щедро красоту,

свое очарование не зная.

Ну просто так, гляди не наглядись,

и если мрачен — лучше улыбнись...

Я был сегодня раздражен с утра,

готов нелепым разразиться криком.

Но вот в саду

я встретился с гвоздикой,

вгляделся —

и как будто с плеч гора...

Почаще на цветы смотрите, люди!

1967

\* \* \*

Небом полночным,

при яркой Луне

женщина скачет на белом коне.

Юная женщина,

в белых шелках,

розовый повод

в поющих руках...

Юная женщина скачет ко мне

небом полночным,

при яркой Луне...

1967

\* \* \*

День на день так похож!.. Ну и что ж...

Время мчится с космической скоростью.

Торжествует над правдою ложь,

беззаконье глумится над совестью.

Я шагаю в леске налегке,

воздух полон февральскою свежестью.

Ни за что не поддамся тоске,

не сломить меня злу и невежеству.

Пусть сражаюсь один на один

с наседающим вражеским сонмищем,

сердце бьется покуда в груди,

и пока надо мной светит солнышко,

я врагам не отдам никогда

все, что мною добыто и сложено...

Нет, не только вода да еда,

человеку — свобода положена!

1968

\* \* \*

Судьбы жестоки санкции:

изрядно ею мятый,

отчалил я от станции

своей пятидесятой.

Хоть не покрыт я проседью

и моложав как будто,

но вдруг повеет осенью,

взгрустнется почему-то...

Взгрустнется на мгновение.

Лишь солнце улыбнулось —

пришла пора весенняя,

и молодость вернулась.

Сияет небо синее,

черемухи метели

и трели соловьиные,

заливистые трели!..

И столько светлой ярости,

так хорошо безбожно,

что помышлять о старости

ну просто невозможно!

1968

\* \* \*

Я рыбачком прослыл в округе,

в озерном голубом краю.

На зорьке с удочкой стою

в необозримом полукруге

и жду счастливого улова:

вдруг попадется судачок!..

Но нету клева, нету клева,

не шелохнется поплавок.

Видать, останусь без ушицы,

не лакомиться заливной...

Но небо надо мной искрится,

луг предо мною заливной,

он весь в цветах и пряных травах,

он дымкой огненной покрыт,

а озеро — в его оправе —

отсветным пламенем горит.

Несется песня — звонко, чисто...

Мой слух, мелодию лови!

Поют в кустарнике солисты,

наверно, песню о любви.

Чуть в золотистом озаренье

я вижу, словно на холсте,

вдали раскинулись селенья

на той, приокской высоте...

Улова нет. Но мне не жалко.

Не пахнут руки чешуей...

С пустым садком иду с рыбалки

и с переполненной душой.

Озеры, 16 мая 1968

\* \* \*

Как поле перед боем —

и молчалив, и чист —

лежит передо мною

бумаги белый лист.

Пока еще неведом

сражения исход:

провалом иль победой

окончится поход?

Нет ни одной отлучки,

развернуты войска.

Ракету-авторучку

нацелила рука.

Еще одно мгновенье —

расколот небосвод,

и строки в наступленье

пошли за взводом взвод.

Приказано сражаться:

ни полшага назад!

Слова-бойцы ложатся

цепями к ряду ряд.

Но вот сквозь полог мглистый

пробился солнца свет.

Аиста бумаги чистой

как не бывало, нет!

Он строфами заполнен,

он мною побежден.

Уже сияет полдень

на золоте знамен.

Но рано и нелепо

трубить войскам отбой:

за полем боя — крепость,

там будет главный бой.

Та крепость — мой читатель,

судья трудов моих...

Ему придется ль кстати

рожденный мною стих?

Пока еще неведом

сражения исход:

провалом иль победой

закончится поход?

1968

РОЗЫ НА МОРЕ

Порывистый ветер немного утих,

гремят в отдалении грозы.

А в море, как чайки, на волнах тугих

качаются белые розы.

Быть может, цветы кто-то кинул сюда,

а может, упали случайно?

Загадочно плещет морская вода,

не выдаст, не выплеснет тайны.

Но памятно людям, как памятно мне,

и это пучина не скроет:

под синею толщей, на каменном дне,

покоятся наши герои.

Им нет обелисков, им нету могил,

венков нет от Родины милой.

Их в грозные дни ураган хоронил,

и море им стало могилой.

Порывистый ветер немного утих,

гремят в отдалении грозы.

На море широком, как память живых,

качаются белые розы.

1968

\* \* \*

Набухает сирень,

расцветает сирень —

как красиво!

Майский солнечный день,

свежий праздничный день

в переливах.

Этот буйный расцвет

тыщи, тысячи лет,

в ту же пору

вспыхнет будто бы вдруг...

Тонкий запах вокруг

по простору.

Космонавтики век,

кибернетики век

горделивый.

Ты открыл, человек,

создал ты, человек,

это диво.

Ты, конечно, гордись,

что идешь вдаль и ввысь

в наступленье.

Но получше вглядись,

но позорче вглядись

в цвет сирени,

в цвет весенних садов,

в созреванье плодов,

в тучность нивы...

И воскликнешь тотчас,

может, тысячу раз:

— Это — диво!

1968

\* \* \*

Привет, родимая стихия,

мой сад, мой самодельный стол.

Вот снова здесь пишу стихи я —

знать, снова сам себя обрел.

Мой слух, как лучшее лекарство

, как радость, ловит посвист птиц.

Оно мое — все это царство

без потолка и без границ.

Здесь вновь дано мне причаститься

своей святая из святых...

И снова небо заискрится

в лучах слепящих, золотых.

И то, что сумеречно снилось,

смогу увидеть наяву.

Наверно, в этом — Божья милость,

затем я, может быть, живу.

1968

\* \* \*

Меж двух дубов, раскидистых, могучих,

проклюнулся дубочек в три листка.

Он должен крону вынести под тучи

когда-нибудь, в грядущие века.

Но крону он не вознесет. В расцвете

под тучи не поднимется дубок.

В корявые, раскидистые ветви

упрется, как в железный потолок.

И сколько бы ни бился он упорно,

брешь не пробить в нем, хода не найти:

по сторонам — расти себе просторно...

А высота запретна — нет пути.

И будет ствол его в уродливом изгибе

разлапист, подневолен, невысок...

Меж двух дубов не к месту, на погибель

проклюнулся малюсенький дубок.

1968

ЗАЧЕМ Я РОДИЛСЯ

Зачем я родился?

Чтоб солнце увидеть,

чтоб правду любить

и чтоб ложь ненавидеть.

Чтоб в час испытанья,

в жестоком бою

не дрогнуть пред смертью

за землю свою.

Зачем я родился?

Чтоб сеять добро,

не злато копить,

не копить серебро,

а быть и богатым,

а быть и счастливым

от блеска реки

и от золота нивы.

Зачем я родился?

Чтоб чтить свою мать,

чтоб каждое утро

работой встречать.

И в день яснолицый,

и в день хмуро-серый

в людское величье

крепить свою веру.

Зачем я родился?

Чтоб в буднях жестоких

выковывать нужные

честные строки.

Набатную песню

о мире сложить

и с нею в сердцах

человеческих жить.

1968

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

По традиции сейчас стихи пишу.

Все-таки я радуюсь итогу:

двигаюсь, страдаю и дышу.

Разве это мало? Слава Богу!

Високосный мачехой мне был:

горечь я отведал в изобильи —

лютый ветер остужал мой пыл,

непогода сковывала крылья.

Словно встал на роковой черте,

чтобы опуститься на колени,

и казалось, что моей мечте

в пропасть предназначено паденье.

В пропасть. И тогда дела с концом,

от мечты осколки полетели...

Без нее ты станешь мертвецом,

хоть порядок полный будет в теле:

будешь есть, гулять навеселе,

только не увидишь бригантины...

Ну и что ж, на матушке-Земле

чаще благоденствуют кретины,

процветают, широко живут,

властью обладают исполинской,

и тебя, мечтателя, зажмут,

если ты не мыслишь по-кретински.

Нет, я в ноги им не упаду,

и с моей мечтой мне не расстаться.

Верю: в наступающем году

да еще последующих двадцать

я пойду сквозь ветер, дождь и снег,

не завязну в самой вязкой тине.

Я не существо,

я — человек!

Жизнь моя

на вольной бригантине.

30 декабря 1968

МИРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Стою у берега песчаного, крутого,

почти недвижной кажется река.

Она в степи сверкает как подкова,

застыли кучевые облака.

Степь залита едва дрожащим светом.

Покой.

Жара.

Июль.

На гребне лето...

Но вдруг в траве мелькнула куропатка:

она бежит за сереньким жучком.

За куропаткой, как играя в прятки,

лисица пробирается тайком.

Над степью беркут-великан кружится,

еще мгновенье — и наверняка —

вопьются когти в рыжие бока,

от зорких глаз не спрятаться лисице.

Но жизнь и беркута не стоит ни полушки:

он черной смертью над лисой повис,

не ведая, что сам уже на мушке:

раздастся выстрел — беркут рухнет вниз!

Хотел я мирный написать пейзаж —

не получилось.

Степь...

В степи мираж...

1969

\* \* \*

Уходит лето. С каждым днем

зеленый лист чуть-чуть желтеет.

Скупее солнце землю греет

все угасающим огнем.

Пустеет сад. Несет прохладой

и с чистой речки, и с небес.

И глухо ропщет хмурый лес:

— Не надо осени, не надо!

А осень к нам идет, идет

законной, вековой тропинкой.

И удивленная травинка

к другой травинке робко льнет...

Уходит лето...

1969

ПОСЛЕДНИЕ БУКЕТЫ

Итак, окончательно осень

расправилась с летом.

Деревья раздела,

подула порывистым ветром,

косыми дождями

стучится по стеклам оконным,

опавшие листья гоняет

и крутит по склонам.

...И кажется, грезят

о небе безоблачном, синем

на стеблях высоких

девичьей красы георгины,

грустят, ожидают...

Уже сочтены их минуты:

ударит мороз,

и цветы почернеют под утро.

Вот так предназначено

жестким законом осенним.

И нет им надежды —

пошли холода в наступленье.

Но я в этот час на погибель

цветы не оставлю,

домой их возьму,

в кувшины с водою поставлю...

За окнами осень.

А в доме, как отзвуки лета,

живут георгины,

последние пахнут букеты...

ВЕЧНАЯ СЛАВА

Вечная слава погибшим бойцам —

братьям отважным, героям-отцам,

мир на Земле защитившим в боях,

память о них не померкнет в веках.

Яркое солнце, поля и цветы,

радостный труд, и любовь, и мечты

наши бойцы отстояли для нас

жизнью своей в тот решительный час.

Плещутся волны по новым морям,

мчатся ракеты к далеким мирам,

город за городом в дебрях встает —

это сынам,

павшим сынам

салютует народ.

Вечная слава погибшим бойцам,

братьям отважным, героям-отцам,

мир на Земле защитившим в боях,

память о них не померкнет в веках!

1969

\* \* \*

Мелкий снег летит и стелется,

извивается в кольцо.

Я люблю, когда метелица

ветром бьет в мое лицо.

Ты со мной, моя красавица,

как тепла твоя рука.

А луна для нас старается,

светит нам сквозь облака.

Косы русые, атласные,

закудрявились, как хмель.

А глаза, как звезды ясные,

мне сияют и в метель.

Я скажу слова заветные.

Что ответишь ты сама?..

Эх, дорожка наша светлая!

Эх ты, зимушка-зима!

1969

\* \* \*

Качались гулко вековые ели.

О чем они тревожно так шумели?

О том ли, что таинственный поселок

в лес врезался, как города осколок?

О том ли, что ученый пожилой,

простившись нежно с внуком и женой,

спокойно, не испытывая муки,

по зову разрушительной науки

шел мимо этих елей в институт,

чтоб там, в тиши в огромном кабинете

сегодня завершить зловещий труд,

себе на горе, на беду планете:

взорвется бомба! Черный час грядет —

ученый

внука и жену убьет...

1969

\* \* \*

                Ламаре Чкония

В минуты невзгоды, веселья, тоски,

мне песни твои и теплы, и близки.

Средь вечера будто бы солнце встает,

коль голос Ламары в эфире плывет...

Твой голос волшебный звучит вдалеке,

то в небо взметнется, то прянет к реке,

то к самой душе на мгновенье прильнет,

то вновь устремится в звенящий полет.

1970

\* \* \*

Предупреждают годы грозно:

«Как ты, приятель, ни храбрись,

одолевать преграды поздно,

когда твоя на склоне жизнь».

Под солнцем что же мне осталось?

Неспешно подвести итог?

Фатально, смирно встретить старость?

А там — что уготовит Бог?..

Что уготовит — сытость брюха,

дней одноликих серый ряд.

Ни зренья острого, ни слуха.

По временам менять наряд...

Потоку лжи бесспорно веря,

для бодрости попить вино...

С утра до вечера на сквере

играть в картишки, в домино...

К чертям застой, оцепененье!

Мне нужен позарез — разбег,

толчок и взлет, преодоленье!

Немолод я, но человек.

1970

РОСА НА ОТАВЕ

Луга средь лесов, как в оправе,

прохладные всплески реки.

Лугов предосенние травы

приветствую взмахом руки.

Пока их не тронули косы —

колышутся на ветру,

росинок мажорная россыпь

искрится на них поутру.

Неслыханной музыкой блики

играют, сверкают, звучат...

Я таинством этим великим,

как сказкой волшебной объят.

За что ж бриллианты во славе,

топазы в цветной пестроте?..

Смотрите: роса на отаве!

Дивитесь земной красоте!

1970

\* \* \*

Какой сентябрь сегодня на дворе!

Как будто бы июнь в календаре,

и облака в лазурных небесах

плывут, плывут на легких парусах.

Но почему багрянцем лес объят?

Куда, курлыча, журавли летят?..

1970

\* \* \*

Ни облачка в лазурной вышине.

И небо, словно колокол огромный,

хрустальный колокол, в голубоватой дымке,

нависло над торжественной землей.

Чуть тронь его, и величавый звон,

чудесный звон, от края и до края,

как гимн о вечной жизни проплывет...

И не заглушит он ни голоса людей,

ни щебетанья птички-невелички,

ни шороха все падающих листьев,

ни всплеска волн все стынущей реки.

Лишь будет он венцом осенних звуков,

высокий, чистый поднебесный звон...

Не то октябрь сегодня на дворе,

не то июнь? Как ярко светит солнце,

как весело играют ребятишки

в песочнице, на сквере, под грибком.

Но не согрет песок. Он весь усеян

сухими листьями от лип и тополей.

Под ясным солнцем полуголый сквер.

Нет, это не июнь, а увяданье,

и, может быть, последний теплый день,

последний шаг, последний отзвук лета.

А там — ненастье и дожди, дожди...

И долгий мрак глухих ночей осенних.

Все это будет завтра. А сейчас —

ни облачка в лазурной вышине.

И небо, словно колокол огромный,

хрустальный колокол, в голубоватой дымке..

Последний луч... Последний отзвук лета!

1970

\* \* \*

Еще немного, и последний листик

календаря в безмолвье упадет.

Хочу творить. Но путаются мысли,

крыло не расправляется в полет.

За годом год ступаю с тяжким грузом,

увы! не проторенною тропой.

Замаялся. И притомилась муза,

видать, ушла на временный покой.

Зима лютует. Но жива природа,

она лишь мирно спит и видит сны.

Устал безумно... Но в преддверье года

я полон веры в торжество весны.

Она придет, придет по бездорожью,

прибавит силы и развеет грусть.

Вернется муза. На сраженье с ложью

солдатом правды снова подымусь.

Весна придет. И забушуют воды,

и кликнет первый гром над головой:

«Лишь тот достоин жизни и свободы,

кто каждый день идет за них на бой!»

1970

К ЕВРЕЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Я так далек от вдохновенья

, и муза слишком далека.

Я удручен. Но, к удивленью,

наружу просится строка.

Сейчас, увы, не в силах петь я,

чтоб голос плыл за рубежи.

Но ты, строка моя, скажи:

«Он насмерть не захлестан плетью,

он не замучен, хоть затаскан,

весь для людей, хоть нелюдим,

и не почил в телеге тряской

назло гонителям своим».

Он — это я. Тоской объятый,

вкушаю горьковатый плод.

Закончился семидесятый,

в моей судьбе — бесплодный год.

Не диво, коль плененный ворон

не может ринуться в полет

иль вишня, рытая под корень,

подарков сочных не дает.

А я не ворон и не вишня,

я человек, и тем больней

быть вроде нищим, вроде лишним -

в опале честный иудей, на положении «эрзаца»

(не та меня родила мать),

благоволения мерзавцев

как милостыню годы ждать...

А тем из нас, что словно глухи

и даже будто бы в чести,

готовые, как псы на брюхе,

перед тиранами ползти,

тем, для которых «хата с краю»,

мол, притесненья не про нас,

им первым ребра поломают,

как только грянет черный час.

Они неужто позабыли,

как по веленью палачей

евреев гнали и травили,

в застенках мучили врачей,

как со страниц газет московских

выказывали злой оскал

столбцы статей «антижидовских»...

И день за днем крепчал накал.

О нет, не в гитлеровском рейхе,

а здесь, в стране большевиков,

уже орудовал свой Эйхман

с благословения верхов.

И было срамом и кошмаром

там, где кремлевских звезд снопы,

Абрамом, Хаймом или Сарой

явиться посреди толпы.

Еще мгновенье — быть пожару!

Еврей, пощады не проси!..

И сотни новых бабьих яров

раскинулись бы по Руси.

А тех, кто выжил бы на горе,

замыслил так Державный Ус,

к чертям, в таежные просторы,

ликуй и пожирай их гнус!

Но, верно, добрый был ходатай,

и Бог его услышал речь:

вдруг околел тиран усатый

и в грязь упал дамоклов меч,

а не на головы евреев.

И чудом выжил мой народ.

Но уничтожены ль злодеи?

Нет, жив антисемитский сброд!

Он многолик, силен и властен,

стократ коварней, чем «тогда»,

а потому стократ опасней.

Гипнотизирует « жида »:

мол, мы с тобой — родные братья,

тебе и место, и почет.

Потом сожмет в «любви» объятьях,

аж сок ручьями потечет.

Что ж, ты сегодня очень сытый:

Есть курочка и рыба-«фиш».

Как будто в полное корыто,

Бездумно, тупо вниз глядишь.

Взгляни же в небо голубое!

Хочу тебя предостеречь:

и надо мной, и над тобою

опять висит дамоклов меч.

Глупец! Опомнись, жив покуда,

пока не оборвалась нить,

уразумей: второго чуда,

второго может и не быть.

Грядет зловещее гоненье,

Гоморра будет и Содом.

Пойми, глупец, твое спасенье

в тебе самом, в тебе самом!

Уже сегодня за решеткой

тот принужден годами быть,

кто смело выдохнул из глотки:

«В Израиле хочу я жить!»

А завтра? Я подумать смею,

припертые со всех концов,

«владыки» разрешат евреям

уехать в край своих отцов.

Их, верно, примут там с поклоном,

им будет новый воздух впрок.

Но разве может миллионы

принять к себе земли клочок?

К чему нам всем пускаться в бегство

с большой и нам родной земли,

где протекало наше детство,

где наши предки возросли?

С ней — наша радость и печали,

в едином с русскими строю

ее в боях мы защищали,

как мать родимую свою.

Мы к ней проникнуты любовью,

на ней живем мы семь веков.

Она полита щедро кровью

народа нашего сынов.

Мы с ней в любые штормы плыли

и брали тысячи преград.

В ее могуществе и силе

и наш неоспоримый вклад.

Еврей — ученый, врач, геолог,

скрипач, кузнец и полевод...

Мы — не «рассеянья осколок»,

нас тыщи тысяч, мы — народ!

Кто скажет, что еврей похуже,

чем, скажем, чукча иль калмык?

Так почему же, почему же

в изгнанье наш родной язык?

Один-единственный понуро

плетется серенький журнал.

Неужто это — вся культура,

которую народ создал?!

Где наши школы, институты?

Ни одного и ни одной.

Театры где? Давно закрыты.

И вся культура наша смыта

антисемитскою волной.

Конечно, царская Россия

была евреям не мессия.

Однако сквозь ее прорехи

возрос гигант Шолом-Алейхем

и Перец, Бялик, Шолом Аш...

А где же этот «Шолом» наш?

Так кто же, по какому «ндраву»

и по теории какой

у нас святое отнял право —

еврею быть самим собой?

Не мы как будто в сорок пятом,

а тот ефрейтор бесноватый

победу на войне добыл

и свастикой страну накрыл.

Но, к счастью, Гитлер предан тленью

и рейх его повержен в прах.

Так почему же черной тенью

не в небеси, не в облаках,

в моей стране бродить он смеет,

тараща свой отвратный лик?

Не он ли вырвал у евреев,

да с корнем, их родной язык?

Не он ли в том, пятидесятом,

Михоэлса сбил наповал?

Не он ли предал нас проклятью

и шрифт еврейский разбросал?

Не Гитлер ли руками сброда

в сердца евреев сеяЛ страх,

сынов еврейского народа

душил в советских лагерях?

Не он ли, дьявола посыльный,

придумал кару высших мер:

ассимилировать насильно

еврейский род СССР?

Чтоб не остались даже блики,

национальный облик стерт.

А без лица ты — кто? Безликий,

ничтожество, десятый сорт.

И что ж?.. По всей стране широкой,

от Балтики и до Курил,

неумолимый и жестокий,

сей план дубинкой претворил.

Не Гитлер? Так кому же слава

«тончайшей» миссии такой?

Кто отнял у евреев право —

еврею быть самим собой?

В час испытанья, тяжкий, грозный,

когда слышны раскаты гроз,

взываю я: — Пока не поздно,

вставай, народ мой, в полный рост!

Вставай, проклятьем заклейменный,

чтоб равным быть в своей стране! —

тебе кричат шесть миллионов,

истерзанных не на войне,

а в лагерях. Шесть миллионов,

замученных и истребленных,

простерли руки и кричат:

— Восстань, наш угнетенный брат!

Ты можешь отвратить гоненье,

ты волен избирать свой дом.

Твоей культуры возрожденье,

твое величье и спасенье —

в тебе самом,

в тебе самом!

1971

\* \* \*

Я к небу руки возношу,

я не страшусь любого груза,

одно лишь, Господи, прошу:

со мной пусть вечно будет муза.

Она и утром, и во сне,

под небом пасмурным

и синим,

нашептывает в душу мне

слова, порой волшебной силы.

И я вдыхаю их и пью,

как вдохновеннейшую влагу,

я

их шепчу,

кричу, пою,

как зерна сею на бумагу.

**Я,**

как дышу,

стихи пишу.

Мне труд поэта —

не обуза.

Одно лишь, Господи, прошу:

со мной пусть вечно будет муза.

1971

\* \* \*

Нет, я навеки не исчезну,

смерть надо мною не вольна.

Пусть я сорвусь случайно в бездну

иль смоет в океан волна,

пускай уста скует безмолвье

и я паду, глаза смежив...

Кромешный мрак у изголовья...

Я все-таки останусь жив.

Я утверждаю это с верой

не потому, что я велик.

Еще до мезозойской эры

звучал в природе мой язык

в громах небесных и прибоях,

в набегах бури и в тиши.

Земля и небо голубое —

родители моей души.

Она жила в пучине водной,

ступила на земную твердь

всепобеждающей и вольной

не для того, чтоб умереть.

Летели годы, век за веком,

и в озаренье наяву

я появился человеком,

но прежней жизнью я живу,

той, что в немеркнущем сиянье

от сотворенья первых дней,

той, что бушует в мирозданье

без времени, без рубежей.

...И если, не дай Бог, взорвется

родная матушка-Земля,

и в тот печальный час под солнцем

не оборвется жизнь моя:

не человеком и не птицей

в пространстве путь продолжу свой —

летящей крохотной частицей,

неистребимой и живой!

1971

\* \* \*

У нас — серебряная свадьба.

О чем мечталось —

то сбылось.

Сегодня петь бы

да гулять бы —

ведь так от века повелось.

А мы с тобой

не вдарим в бубен,

у нас не будет

пир горой,

и вроде отмечать не будем

наш светлый юбилей с тобой.

Не будет поздравлений разных

и приношений никаких.

Ну, словом, праздник,

но не праздник

какой бывает у других.

Ты даже не поставишь теста,

не наготовишь пирогов.

И все ж ты —

лучшая невеста,

а я — жених из женихов!

1971

БЕЛЫЙ СЛОН

Трубит мой белый слон,

мой альбинос трубит.

Он прогоняет сон,

он никогда не спит.

Все ночи напролет

и в ясном свете дня

зовет,

зовет,

зовет

он счастье для меня.

Четвероногий друг

встревожен и взбешен:

а вдруг,

а вдруг,

а вдруг

я счастьем обделен?!

А вдруг свернет в объезд,

меня не одарит?

И слон не спит, не ест —

трубит,

трубит,

трубит...

Я, правда, небогат,

но не слуга рублю.

И словно ты, мой брат,

трублю,

трублю,

трублю.

Призыв не оборву

я до последних дней:

зову,

зову,

зову

я счастье для людей.

1971

РОДНИК

Селенья были далеки,

а ноги — как пуды...

Ни ручейка и ни реки —

ни капельки воды.

Напрасно я глядел вокруг,

устал. Присел и сник.

Уже отчаялся... И вдруг,

вдруг предо мной — родник!

Как будто среди ада — рай,

цветник — средь голых скал.

Струилась влага через край,

я жадно к ней припал.

Блаженство, радость ощутил...

И возмечтал потом:

вот если б людям стих мой был

подобным родником!

1972

\* \* \*

Ты в дом родной

вернулся в светлый час.

Где ж твой отец?

Где два веселых брата?

Живого мать

тебя лишь дождалась:

в сраженьях павшим

нет домой возврата.

Прошедшее покрыл густой туман...

Но от потери

никуда не деться.

И три рубца —

следы глубоких ран,

следы войны,

на материнском сердце.

1972

ИНВАЛИДУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Инвалид Великой Отечественной,

кровь твоя

на песке,

на траве,

на снегу...

Нет, не только твое Отечество —

вся планета, все человечество

пред тобою в долгу,

в неоплатном долгу.

Кто -то с фронта — счастливый —

вернулся целым.

Кто-то мертвый —

бессмертный —

в землю зарыт...

Ну а ты возвратился

в общем и целом

ничего...

Но ни жив,

ни убит -

инвалид!..

И вручили тебе

билет пенсионный,

хоть почетный,

но тяжкий до боли билет.

Ноют давние раны

днем и ночью бессонной,

и тебе исцеления нет

сколько лет!..

Я, как ты, покалечен в годину лихую.

Пред тяжелым недугом не дал себе пасть.

Мы с тобой, старина,

до конца повоюем

против кривды,

за народную власть

1972

ЭМИГРАЦИЯ

Граница на замке,

и слово под замком,

и церберы

незримо на пороге.

Ты с этим,

современник мой,

знаком,

идущий по предписанной дороге

порой, чего греха таить, ползком.

Тебе заранее готовит кто-то речь,

шагай в гурте, как тысячи и тыщи.

А если сим посмеешь пренебречь —

отхлещут и кнутом,

и кнутовищем,

да так, что и ни сесть тебе, ни лечь.

Свобода?

Что за чушь?!

Сомненья?

Что за бред?!

Будь счастлив, что набитая утроба.

Инако мыслить?

Тяжкий грех

и вред:

ты только голос свой иметь попробуй

и возле дома твой простынет след.

Достоинство?

Ошибка словаря.

К чему оно — ненужная обуза!

К примеру, босс тебя унизит зря —

надейся на поддержку профсоюза

и верь, товарищ, что взойдет заря...

Желания?

Чего тебе желать?

Ты — человек, и все тебе поблажки:

ты можешь, как сосед, приобретать

в рассрочку барахло и деревяшки

и думать, что богатому под стать.

Хошь — водочки до одуренья пей,

а хошь — футбол покажет телевизор.

Россию-мать обвил зеленый змей,

и травит люд, и тянет книзу,

и делает покорней и немей.

Законность?

Да, написан и закон.

И не сказать, чтоб был он никудышный.

Да вот карает часто правых он.

Недаром говорят:

закон — что дышло,

верти его, крути со всех сторон...

И вертится, и крутится Земля,

и вдаль летит твоя шестая света

в созвездии Московского Кремля.

А я кричу: «Карету мне! Карету!..»

На время эмигрирую в себя.

1972

ИКС

Будил огромный лайнер высоту.

Сто двадцать пассажиров на борту.

Был среди них

чиновник важный Никс.

Он не смотрел в иллюминатор вниз.

В подобном ранге был он там один.

Но туповат был этот господин.

И о добре он понаслышке знал.

В удобном кресле сладко чин дремал.

А прочие — худые, толстяки,

по большей части были добряки,

и каждый жил заботами о том,

чтоб Землю украшать своим трудом.

Вот лайнер завершает свой полет.

Но что-то плохо рассчитал пилот.

Был роковым посадочный пробег,

и... ни один не выжил человек.

Кричала пресса, и гудел эфир,

молниеносно извещен был мир:

«Вчера погиб

чиновник важный Никс!»

А прочие

сто девятнадцать? —

Икс!..

1972

ЕЩЕ ОДИН

В глухой тиши

больницы Хиросимы

измученный,

с поникшей головой,

еще один —

Якио Иосима —

ждал смерти от болезни лучевой.

Он не стонал,

не звал врачей на помощь,

тускнели отрешенные глаза.

Над Хиросимой

проплывала полночь,

слезою капля

по стеклу текла...

Он понимал:

от смерти нет спасенья,

и, как ни странно,

хорошо, что нет...

Смерть по пятам

за ним тащилась тенью,

не отставая,

много черных лет.

Он вспоминал (в сознании покуда)

год сорок пятый, августовский сад...

Огонь и гром!

И за одну минуту

нет Хиросимы —

есть кромешный ад!

Нет светлых улиц,

скверов нет зеленых...

Один разряд,

всего один лишь взрыв!

Но сколько горожан

испепеленных!

А он, Якио,

он остался жив...

И вот он мертв,

его сомкнулись веки.

Ждет погребенья Иосимы прах.

— Войне проклятье!

Миру —

мир навеки! —

застыло криком

на его губах.

1972

\* \* \*

Меж облаков все реже просинь,

пожухла кое-где трава.

Не за горами, значит, осень.

Она войдет в свои права.

И сменит лето, словно проза

поэзию сменяет вдруг.

Спадет жара, погаснут грозы,

потянут журавли на юг...

В леса ворвется свежий ветер,

раздует лиственный пожар.

И первый иней на рассвете

как соль на острие ножа...

1972. Озеры

\* \* \*

Что быль, что небылица

промчался старый год.

И новый, яснолицый,

у матушки-столицы

распахнутых ворот.

Декабрь, а ни снежинки,

да и теплынь притом.

А мне на Соколинке,

по давнишней тропинке

встречать его стихом.

Расстегивай овчину,

вспотевший Дед Мороз!

Ты, верно, молодчина,

а ну-ка для почина

чего ты мне принес?

Намаялся я слишком

в минувшие года...

Ко мне идешь ты с книжкой

малюсенькой под мышкой —

такому рад всегда!

Прошедший бородатый

усердно мне служил.

Я стал лауреатом

журнала «Крокодил»,

меня печатал в «Правде»,

водил меня в эфир.

А ты скажи по правде,

я получу награду —

медаль «Борец за мир»?

Не получу — так что же...

Здоровья лучше мне,

как говорят, дай Боже,

и канарейкам тоже,

и теще, и жене...

Пора поставить точку.

Дай, Новый год, обет:

чтобы рождались строчки

счастливые, «в сорочке»,

и вылетали в свет.

31 декабря 1972

НАША МАМА

Наша мама — полемистка,

но она — не резонер.

С ней нельзя сравнить и близко

умниц изо всех Озер.

Мама держится солидно.

Не в любой вступает спор.

У нее весьма завидный

и широкий кругозор:

от симфоний до прелюдий,

от поэм до оперетт.

Лучше всех готовит блюда

от ватрушек до котлет.

Слава маминым соленьям,

выше всех они похвал!

Что касается варенья —

не скажу, не разобрал.

1973

\* \* \*

Не то мне это снится,

а может, наяву:

который день в больнице

я пленником живу

и к незавидной нови

привыкнуть не могу.

...А были сгустки крови,

как маки на снегу.

Испуганные взоры,

и день, как мрак в ночи,

приезд нескорой «скорой»,

и сестры, и врачи...

А было опасенье —

вот-вот сомкнется круг,

тревога,

полубденье:

а вдруг?

а вдруг?

а вдруг?..

Что было — миновало,

Всевышнему хвала!

И снова сил немало

на трудные дела.

Да, впереди метели

и прочее сполна!

Но нынче птицы пели

о солнечном апреле...

Да здравствует весна!

1973

\* \* \*

Уже весна плетет узоры,

деревьев проясняя суть.

Опять зовут меня Озеры,

пора, пора в недальний путь.

Ни капли нови в старой фляге,

и все там для меня старо.

Но вдохновенней там перо

и «просится перо к бумаге».

1972

\* \* \*

Я отмечаю день рожденья

своей рифмованной строкой.

Года — не к старости ступени

и не дорога на покой.

Года — ступени восхожденья

к мечте от суеты мирской,

реки извечное теченье

меж берегов в простор морской,

полет не в темень, а к свеченью!..

А иначе

к чему рожденье?

1973

\* \* \*

Мальчонка на игрушечном коне

тихонько едет где-то в стороне...

А я лечу на резвом скакуне,

живом, горячем — им залюбоваться!

Но, как ни странно, не под силу мне

с тем маленьким наездником

тягаться.

Промчусь я, словно ветер, много верст,

хоть на плечах — заботы и тревоги,

но где-то впереди — провисший мост.

И рухнет он.

Конец моей дороге!..

Ползет мальчонка.

Мой неистов бег.

Но он —

не я —

прибудет в новый век!..

ДЕТСТВО ПОЭТА

Стихотворение в прозе

Детство мое... Как хотелось бы мне назвать тебя золотым, детство мое. Помню золото и багрянец осеннего сада у отчего дома, червонное золото листьев, звенящих на прохладном осеннем ветру...

Помню золотой диск луны, отраженный в зеркала тихого пруда. Диск чуть дрожит у самого берега. Маленькими ладонями, сложенными в ковшик, я хочу зачерпнуть это золото, но в ковшик почему-то попадает] лишь вода, простая бесцветная вода.

...Позолоченный бокал, до краев наполненный душистым вином. Он торжественно и одиноко стоит на белой скатерти в пасхальную ночь, предназначенный волшебному гостю — Илье Пророку. Я не сплю в эту ночь, безлунную темную ночь. Я мечтаю увидеть Пророка... Каждый шорох меня настораживает, необъяснимой тревогой сжимает сердце...

Вдруг словно гром загрохотал!.. Кто-то непрерывно барабанил в дверь дома... Я еще не знал тогда, что! такое безумный страх. Впервые увидел его той ночью при свете керосиновой лампы, зажженной дрожащей рукой матери: простоволосая, бледная, в длинной ночной сорочке, она походила на покойницу... Долговязый отец белыми губами испуганно повторял: «Кто там?] Кто там?..» За дверью срывающимся, приглушенным! голосом кто-то крикнул: «Гайдамаки в соседнем селе режут евреев!..»

Ночь пасхальная, темная страшная ночь. Я в телеге сижу и дрожу на перине, закутанный в два одеяла. Мать, ко мне прижимаясь влажной щекой, шепчет тихо: «Усни,мой сыночек, усни...»

Я не сплю, слышу цокот копыт лошадей, запряженных в телегу, кони резво бегут, а отец погоняет: «Живей, ну живей же, проклятые клячи!..»

Почему и куда их торопит отец? Не пойму. И зачем мы бежали в ночи из уютного доброго дома? Может, это не явь, может, сон, жуткий сон в эту темную ночь? Moжет быть, я проснусь и увижу: Пророк позолоченный поднял бокал, пьет искристый напиток во здравие наше, и сияние исходит из ясных и добрых Пророковых глаз...

Только нет, я не сплю. Небо в трауре. Лишь далёко-далёко две звезды чуть мерцают... А колеса телеги все стучат и стучат о булыжник... А потом по проселку песчаному кони бегут... Хлещет кнут, и отец погоняет: «Живей! Ну, живей!»

Где-то там, позади, остается родительский дом и слегка золоченое детство мое...

Рассветает. Я вижу согбенную спину отца, дремлет мать тяжелой дремотой. С неба капает дождь, редкий дождь... Или плачет ночь? Ведь и небу должно быть невесело, глядя на нашу телегу. За телегой, как тени, с узлами какие-то люди понуро бредут, чьи-то кони устало храпят.

Два подсвечника рядом стоят, два подсвечника медных. Две свечи в полумраке горят, две свечи восковые. Дом чужой, и четыре стены этой комнаты полупустой нагоняют тоску. Я сижу на кровати, сжавшись, в углу и гляжу на таинственный пламень свечей. Возле них стоит мать в одеянии праздничном, в темном ажурном платке. Руки кверху воздеты, веки сомкнуты, будто во сне, по щекам две слезинки бегут, словно капли дождя по стеклу в непогоду, губы шепчут молитву...

—    Помоги, Адонай! Помоги нам, о Господи наш!.. Огради нас от бед и спаси нас от рук палачей!

Жарко молится мать. Тень от рук ее, к небу простертых, на стене чуть колеблется. Тихо... Тихо...

И мне чудится, Адонай, наш Всевышний, на троне своем, в облаках, высоко над Землей, мольбе материнской сочувственно внемлет. Может быть, он поможет и скоро вернемся мы в дом, добрый дом, что стоит среди старого сада, где-то там, далеко, почему-то покинутый нами.

Дом родной! Он плывет предо мной, как корабль — белый дом островерхий, с чернеющей крышей... В этом доме плывет мое детство, слегка золоченое детство. Белый голубь, как чайка, над домом летит...

...Вдруг струна оборвалась на скрипке чужой, что висит на стене надо мною. Оборвалось виденье... И свечи уже догорают. Мать ко мне подошла.

—    Почему ты не спишь? Спи, сыночек, усни. С нами Бог!..

1973

\* \* \*

Я долго истину искал,

я требовал ответ.

Что есть начало всех начал,

в чем бытия секрет?

Одну лишь истину прочесть

мне разрешил Творец:

всему на этом свете есть

начало и конец.

1973

ПОЭТ

Сто ливней,

сто бурь,

сто гонений и бед

на сердце

глубокий

оставили след.

Дорога — проселок

в холмах и буграх —

шагай,

если можешь

стоять

на ногах.

Жара нестерпима

и даже в тени.

А ты свою лямку

тяни да тяни.

Не жди ни похвал,

ни посул,

ни подмог:

ты —

сам себе лошадь

и сам себе — Бог!

1973

\* \* \*

Молчит моя заброшенная лира,

ослабленные струны не звенят.

Лишь гневно прорывается сатира,

как обличенье,

источая яд.

Носить бы мне певца любви корону –

улыбка не сходила бы с лица,

когда б не видел,

как умышленно в икону

лакеи превращают подлеца,

когда б не лицезрел тупиц

у власти,

несущих беды страждущей стране,

когда бы и удары, и напасти

не испытал на собственной спине.

Остался жив...

Казалось, при Никитке

в кромешной тьме

мелькнул свободы луч...

Но оборвалась тоненькая нитка!..

Над нами снова мрак зловещих туч,

и снова разгулялось беззаконье,

и снова лжи —

почтенье и салют:

во славу новоявленной иконы

фанфары надоедливо поют

от Мурманска

до самого Памира,

от Сахалина

до самих Карпат...

Вот почему моя замолкла лира,

лишь гневно

прорывается сатира,

как обличенье,

источая яд!

1973

\* \* \*

Садовник старый жил последний час.

—    В чем жизни смысл? —

его спросили люди.

—    Полвека я растил плоды для вас,

пусть этот труд мне памятником будет.

Коль срок пришел —

я смерть свою приемлю.

Вам завещаю:

берегите Землю!

1973

\* \* \*

Последний лист календаря

опять пошел в расход...

Еще один, выходит, зря

был прожит мною год.

Рассвет и вечер, день и ночь,

недели прочь и месяц прочь.

И так — без пользы и следа —

текут года, бегут года...

Как у дряхлеющих мужчин,

проживший долгий срок,

мое лицо полно морщин

и вдоль, и поперек.

А мне совсем немного лет,

но сколько горя, сколько бед,

жестокой и пустой борьбы

я взял из жестких рук судьбы!..

Хоть век шлифуй слепой графит,

пусть твой велик талант.

Графит, увы, не заблестит

огнем, как бриллиант.

Из глины стали не сварить.

Из камня нити не скрутить...

1973

ЗАРЯНКА

Растаяла предутренняя тень,

на легких крыльях поднимался день.

И в чаще, наяву

как в полусне

зарянка пела песню о весне.

Чем громче раздавался светлый звук,

тем тише становился сердца стук:

за каплей

капля

в песню кровь ушла.

И песня потому была тепла,

и потому сверкала на лету,

собой наполнив ширь и высоту.

Зарянка —

два распластанных крыла...

А песня —

все плыла,

плыла,

плыла...

1974

\* \* \*

Для лета нынче мало света,

но я об этом не грущу.

Я вдохновением поэта

нелепый сумрак освещу.

И небо в красках полусонных

я растворю в голубизне.

И листья вялые подсолнух

упруго повернет ко мне.

Нет, не ко мне, а к вдохновенью,

оно во мне и вне меня.

Где вдохновенье — там горенье,

там праздник солнца и огня.

1974

\* \* \*

Живу

Дышу шестидесятым маем.

То тяжко мне,

а то легко в груди.

Я знаю, но никак не понимаю,

что молодость осталась позади.

Когда?

На перекрестке,

повороте?

Никак не вспомню, где расстался с ней.

Наверно, в час ночной

незримый кто-то

в телеге жизни подменил коней...

И вместо норовистых,

жарких,

резвых,

полушальных,

встающих на дыбы,

телегу катит пара очень трезвых...

Куда? Вперед, по колее судьбы.

Вперед не к лету,

в край осенний, хмурый,

где небо ниже, листья все рыжей...

Эй, милые! Зачем плестись понуро?..

Не слушаются лошади вожжей.

Не слушаются,

видно, плох возница,

не помогает даже хлесткий кнут.

Ползут колеса. Не мелькают спицы...

За метром метры —

роковой маршрут.

Нет, в пустоте я не ищу опоры,

но не хочу ползти до той поры.

Я поверну коней. Пусть тянут в гору,

а там —

во весь опор пущу с горы!

Всем судьбам в пику!

Упоенный бегом

и спуском,

хоть опасным и крутым,

помчусь я вновь!

Лети, моя телега,

со мною обновленным,

молодым,

пускай несутся кони,

словно черти,

быть может, не доеду —

разобьюсь...

Я не боюсь

ни скоростей,

ни смерти.

Я старости плетущейся боюсь.

1974

\* \* \*

Течет с березы сок,

струится сок из сосен.

И день, и ночь в горах шумит поток.

Пчела — с летка к цветку

и снова на леток...

К закату лето. Скоро грянет осень...

А я молчу, как будто занемог,

как будто душу запер на замок

и навсегда стихи писать забросил.

Что — дерево без сока и в бесплодье?

Что — вешняя река без половодья?

Что — без пыльцы летящая пчела?

Как от сгоревшего костра зола,

ненужно и мертво и то, и это...

Так что ж тогда молчанье для поэта?

1974

\* \* \*

Сосна росла,

сосна цвела,

и вдруг,

под самый дых,

под корень,

ей впилась пила —

и нет ее в живых.

Лежит

прямая как струна,

до веточки обрублена.

К чему, зачем теперь она

без времени загублена?

Мне жаль ее.

Печален взор...

Но вижу:

плотник кряжистый

умело взялся за топор —

и бревна в стены вяжутся,

и дом встает

сосне под стать,

стоять ему столетие.

Рождаться будут, вырастать,

в нем дети, как соцветия...

А если в срок или не в срок

погибнуть нам достанется —

какой от нас посмертно прок

и что живым останется?

1974

\* \* \*

Когда б я был один за то в ответе,

без красных слов, костьми я смог бы лечь,

чтобы зверье и птиц сберечь

на этой обезумевшей планете...

1974

ИЗГНАНИЕ СОВЕСТИ

Такое может лишь присниться

в тиши удушливых ночей:

по черной воле палачей

навек оторван Солженицын

от кровной Родины своей.

Его бы с радостью казнили,

сожгли, развеяли бы прах.

Но всемогущее насилье

внезапно замерло в бессилье:

остановил насилье — страх!

О нет, не пред своим народом:

запуган он и безъязык.

Века не знающий свободы

под этим мрачным небосводом

властям перечить не привык.

Не раз прореженный жестоко

то ГПУ, то КГБ,

по сути смелый и широкий,

под хищным полицейским оком

замкнулся он в самом себе.

Его давил сапог тирана,

под дых железный бил кулак,

его сынов, согласно плану,

безвинных гнали на закланье

на тот архипелаг ГУЛАГ,

где мучились не единицы,

а полумертвых легион,

нещадно битых, бледнолицых...

И среди них был Солженицын,

и так же горе мыкал он.

...И сын Руси надел вериги.

Его клокочущие книги,

сверкая, обнажили зло,

насилья мерзкое обличье

и ужасающим оскал.

И хлынул свет за пограничье.

Пред миром, в жертвенном величье,

писатель Солженицын встал.

За правду, за разоблаченье

суров верховный приговор,

в печати — злобное гоненье,

завыл в зверином исступленье

ничтожных подхалимов хор.

Был посрамленью и наветам

«придворными» подвергнут он,

и очернен, и оклеветан.

Близка беда по всем приметам.

Арест... конвой и... за кордон!

Изгнанье! Кары горше нету!

Однако жив он, не убит,

и имя честное над светом

неуходящею кометой

как символ совести горит.

И ни к чему в продажном стане

теперь победно руки трут.

Пора придет, и час настанет,

неотвратимо суд нагрянет,

не Божий — всенародный суд!

Ублюдки под державной сенью!

Вельможи! Холуи вельмож!

О нет! Не будет вам спасенья,

ответите за преступленья,

и за насилье, и за ложь,

за все заплатите сторицей!

Я быть пророком в том берусь:

да возвратится Солженицын

в свою любимую столицу,

в свою воспрянувшую Русь!

1974

\* \* \*

Сегодня, надеждой объятый,

в предчувствии светлых свобод,

встречаю я семьдесят пятый

вот-вот наступающий год.

Все мною испытано в меру.

Сверх меры познал я беду,

я верю,

я верю,

я верю:

все сбудется в новом году.

Удача придет непременно,

и будет душе веселей:

я вырвусь из долгого плена,

отпраздную свой юбилей

под небом высоким и синим,

быть может, в далекой дали...

Я — сын Украины, России,

но я — гражданин всей Земли.

1974

\* \* \*

Хранят музеи

слепки рук

великих музыкантов.

В них словно слышен

светлый звук,

навеянный талантом.

Но нет еще нигде пока

тех слепков рук

священных,

какие держат мир

века

трудом обыкновенным.

1974

МАТЬ СОЛДАТСКАЯ

        Епистимии Федоровне Степановой,

        крестьянке из Краснодарского края,

        потерявшей в Гражданскую

        и Отечественную войны девять сыновей.

Снег метет,.

снег метет —

завируха.

Ветер песни поет,

иль вызванивает лед,

иль ошибка слуха?..

Мало ли что чудится

путнику в пургу:

будто рядом улица,

кони на бегу...

Снег метет,

снег метет —

завируха...

А по белой степи —

белая старуха

в сумраке идет...

А зачем да куда?..

Эх ты, горе-беда,

ох, беда да горе,

полумрак во взоре.

Были молоды глаза,

ясные, шустрые...

Стали старыми глаза,

мудрыми,

грустными.

...Почему среди степи вьюжной

старуха белая?

Что ей нужно?

Что здесь делает?

Ей сидеть бы

в теплом доме,

возле печки

в полудреме,

шерстяной чулок

вязать

да тихонько напевать.

Жить осталось

малость — старость!

А она, гляди,

без устали,

шагом мерит

просторы русские,

украинские

с-под Кубани —

под стены берлинские..

Неогляден,

необъятен

солдатский погост...

Где родимых

земля приютила?

Может, пять,

может, сто,

может, тысяча верст

от могилы

к могиле?

А старуха —

на то она

мать,

чтоб погибших сынов

навещать...

«То ль ненастно,

то ли ясно,

то ли холод,

то ли зной,

жизнь покуда

не угасла,

я, сынок, всегда с тобой...».

Еле слышно шепчут губы,

повторяют: «Я всегда...»

Руки узловаты,

грубы

от крестьянского труда.

От годов и от кручины

на щеках

легли морщины.

Ну а сердце?..

Сердце старухи:

частые стуки,

шумны и глухи.

Страшными ударами

нещадно битое,

кровью и слезами

мыто-перемытое...

Под кофтою груди

выдул суховей.

А вскормили эти груди

девять сыновей.

Были груди молоды,

полные соков,

и вскормили

молодцев —

к соколу сокол!

От Александра, старшего,

до Саши, меньшого,

спрашивай не спрашивай,

не найдешь такого:

ладные да сильные,

брат похож

на брата.

Всех их

покосили

войны проклятые.

...Необъятен,

неогляден

солдатский погост.

Где родимых

земля приютила?

Может, пять,

может, сто,

может, тысяча верст

от могилы

к могиле...

А старуха,

на то она мать,

чтоб родимых сынов

навещать...

Снег метет,

снег метет —

завируха...

А по белой степи

белая старуха

идет,

идет,

идет...

1974

\* \* \*

Как хорошо идти тропою

прямой и твердой, как гранит.

Как просто смешанным с толпою

шагать, куда вожак велит,

сидеть в ненастье под навесом,

пережидать буран в дому,

болтать цитатами из прессы

и не перечить никому.

Зачем карабкаться к вершине

так, чтоб на коже пот и соль?

К чему и по какой причине

делить чужую скорбь и боль?

Зачем скалой стоять за правду

и без щита таранить ложь,

а получить за то в награду

промеж лопаток мщенья нож?

Но может быть еще похуже:

зажмут, согнут тебя в дугу.

Так почему же, почему же

быть равнодушным не могу?

Вознагражден я или проклят,

что в сердце неуемный жар?

Но не могу вдали с биноклем

глядеть, как дом объял пожар.

Себе не созидаю рая,

а там — хоть не расти трава!..

Я не желаю попугаем

чужие повторять слова.

Давно пошел шестой десяток,

и поуняться бы мне честь!

Но весь, от головы до пяток,

каким я был, таков и есть,

таким и до конца пребуду,

покой лишь признаю во сне.

Бунтуй, душа моя,

покуда,

покуда кровь течет во мне.

Дороги торной

мне дороже

навстречу солнцу крутизна.

Иначе

сердце жить не может.

Иная жизнь?

К чему она?

1974

\* \* \*

Закат погас давным-давно,

а человек глядит в окно...

Его охватывает жуть:

«О, как все бренно, быстротечно...»

Во тьме сверкает Млечный путь,

летящий в бесконечность вечно!..

1975

\* \* \*

Нет, право, ни при чем тут сроки:

приходит год, уходит год,

жара или мороз жестокий,

веселый бег весенних вод —

ни в том и ни в другом истоки

и вдохновенья, и забот.

Когда родятся чаще строки,

я счастлив. И наоборот:

когда не тянут корни соки,

когда ни грез, ни дум высоких —

такая грусть-тоска берет!..

Нет, право, ни при чем тут сроки:

уходит год, приходит год...

1975

\* \* \*

Еще листвою шелестят

зеленые сады.

Мне нынче ровно шестьдесят,

но в этом нет беды.

Не старческой тоской объят —

душой и мыслью свеж.

Мне — шестьдесят.

И, значит, взят

еще один рубеж.

1975

\* \* \*

Время — нелегкая ноша,

годы летят и летят.

Вот уже, хочешь не хочешь,

стукнуло мне шестьдесят.

Нередко одно и то же

спрашивают «друзья»:

— На свете немало прожил,

а что ты от жизни взял?

Лгать мне никак не пристало.

Да похвалиться нельзя:

мало, ничтожно мало

«взял» я от жизни, «друзья».

Без всякой наигранной позы

отвечу на тонкий вопрос:

годы я мерю пользой,

которую людям принес.

Пускай обыватель судачит:

«Войны ветеран, поэт,

а нету и плохонькой дачи,

в квартире комфорта нет.

Работает, что ли, задаром?..»

Нет, стал я отменно богат,

когда впервые ударил

мой

«Бухенвальдский набат».

И если от страшной напасти

мир защитить помогу...

Какое другое счастье

себе пожелать могу?

1975

АВГУСТ

Покуда упруг еще парус,

и руль подчинен молодцу.

А все-таки августом август,

и лето подходит к концу.

Еще леденящие ветры

его не согнули в дугу...

И зеленью кованой ветви

звенят на могучем дубу...

Но видишь: незваная проседь

морозцем виски порошит.

Но слышишь, как рыжая осень

извечной дорогой спешит?..

Мечтается так, как мечталось.

Пчела собирает пыльцу.

А все-таки августом август,

и лето подходит к концу.

1975

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ...

Безумием объятая планета

с вершины галактической горы

летит,

летит,

летит в тартарары,

в полете развивая скорость света.

Полями и лесами разодета,

щедры ее обильные дары,

могучим солнцем все еще согрета,

под звонкий смех беспечной детворы

безумием объятая планета

летит,

летит,

летит в тартарары.

Вниз головой владыки в кабинетах

сидят на креслах, зорки и мудры.

Глобальные фатальные ракеты

в засаде притаились до поры...

Летит,

летит,

летит в тартарары

безумием объятая планета.

Отрава в реках — времени примета

от Миссисипи, Рейна до Куры.

Распределяют злато госбюджета:

для жизни — горстка,

смерти — две горы.

Пары,

жиры,

шнуры,

шары,

газеты,

боеголовки,

биржи,

пистолеты...

все в мешанине головной коры...

Безумием объятая планета

с вершины галактической горы,

в полете развивая скорость света,

летит,

летит,

летит в тартарары!..

1975

\* \* \*

Не снег, не дождь, а дребедень,

и под ногами каша, слякоть.

Но в этот хмурый зимний день

я вовсе не намерен плакать.

Как миг промчался старый год.

Увы, он снова не вернется.

И не упал к ногам тот плод,

что в жизни счастьем обернется.

А мой спасительный корабль

стоит на якоре, как прежде.

Но я не сник и не ослаб,

не разуверился в надежде.

Нет, предсказать я не берусь,

что новый год мне уготовил.

То я шагаю, то плетусь,

всегда и ко всему готовый.

Живу я, словно на войне,

к броску напрягся из траншеи.

Зачем оно такое мне?

Но я иначе не умею.

1 января 1976

\* \* \*

Мне снятся мерзостные сны.

Тому есть веские причины...

И небо ясное весны

порою кажется с овчину.

Ох, надоела немота,

когда кричать необходимо!

Наверно, краше слепота,

чем видеть все орлино-зримо:

тупую правящую рать,

народ —

безвольный, алкогольный...

Но надо жить...

Терпеть и ждать.

Терпеть,

хоть нестерпимо больно.

1976

МОЛИТВА

О, дай мне, Господи, подняться

в полете над самим собой,

как будто бы мне снова двадцать

и не страшит барьер любой.

И нет еще в запасе знаний,

и вовсе я не эрудит,

а неокрепшее сознанье

пока что безмятежно спит.

И от малейшей женской ласки

глубокой ночью не до сна,

пред взором вспыхивают краски

и даже осенью — весна.

Все небо надо мной искрится,

пространство подо мной — в цветах,

парю свободно, словно птица,

упруг и крепок крыльев мах!

О, дай мне, Бог, подняться снова

поближе к солнцу, в небеса!

Сорви и дум, и лет оковы

с меня хотя б на полчаса!

За этот краткий миг свободы,

за дерзновенный сей полет

убавь мне старческие годы

и мудрости тяжелый гнет...

К чему бесплодное томленье?

Что толку под золою тлеть?

Я жажду радости паренья,

хоть раз еще хочу взлететь!..

1976

\* \* \*

Такой январь сравнить лишь можно с мартом

мороза нет, и не метет пурга.

Лишь южный ветер с озорным азартом

съедает преждевременно снега.

1976

\* \* \*

Неужто все самообман

и впредь останется как прежде:

и не дописанный роман,

и кол осиновый надежде?..

Слабеет шаткое «авось»,

и трезвый голос ежечасно

нашептывает: «Слышишь, брось!

Твое борение напрасно.

Ты тайны многие постиг,

ты жизнью умудрен в достатке,

но ты, увы, почти старик

и можешь рухнуть в первой схватке.

Ты сердцем рвешься на войну

за справедливость и свободу...

Тебе бы лучше тишину,

прогулки в ясную погоду,

и так до кипенных седин,

хлопот, тревоги — ни на йоту.

Поверь, чудак, конец один —

что гению, что идиоту!»

Да, трезвый голос лжет едва ль.

Но как последовать совету,

который гасит высь и даль

и закрывает доступ свету?

Так лучше пусть самообман.

Не усидеть мне за оконцем.

Я вижу солнце сквозь туман,

я вскинул руки:

— Здравствуй, солнце!

До самых кипенных седин

к чертям приманку — «жить по нотам».

Хотя и впрямь: конец один —

что гениям, что идиотам...

1976

\* \* \*

Мне нынче шестьдесят один.

Что ж, я — почтенный гражданин

и, как положено, старею,

увы, протезики во рту...

Но верю все-таки: сумею

еще одну взять высоту.

Что жизнь без взятия вершин?!

Всего-то шестьдесят один!

Под августовским небом светло-синим,

с единственною — другом и женой,

в красе волшебной, тишине лесной,

я праздновал сегодня день рожденья.

Попробуйте! Какое наслажденье!

1976

СЕБЕ

Плюнь на души порезы,

к черту стакан вина!

Ты должен быть

крепким,

трезвым,

юноша-старина!

Пружинь утомленные ноги,

так надо — верти не верти...

Чуда не жди и подмоги

ты и в конце дороги,

ты и в начале пути.

Ежели ты хоть на йоту

сдашься себе самому —

всей твоей жизни работа

канет безвестно во тьму.

Вытерпи снова и снова,

даже во сне не скули.

В этом — успеха основа,

помни:

правдивого слова

жаждут все люди Земли!

1976

ВЯТСКАЯ ЛОШАДКА

Она давно в округе вятской

как будто на смех родилась.

Но, повзрослев, не залихватски,

а скромно в тяжкий воз впряглась.

Куда ей там,

почти убогой,

по виду —

стати никакой,

приземистой, коротконогой,

тянуть, что впору ломовой!

Смотрел с тоской ее хозяин,

слезинка по щеке ползла...

Подергал вожжи: «Милка, взяли!»

И... удивительно, взяла,

взяла, взяла и — покатила!

Кряхтит, а все-таки везет.

Откуда в ней такая сила —

крестьянин бедный не поймет.

Откуда?

Стало быть, от Бога,

Он дал ей прочности запас...

Повеселел крестьянин.

Ноги

вдруг стали легкими, хоть в пляс!

...Я много лет, не трактом гладким

проселком (хоть была бы гать!)

тащу свой воз, как та лошадка.

Мы с ней «одних кровей», видать.

1977

РУСЬ

Не берусь

исцелить тебя, Русь,

не берусь.

Я и думать об этом не смею.

Будь хоть я тыщу крат

Гиппократ,

будь хоть я Моисеем —

все равно не берусь!..

Утонула в кровище,

захлебнулась в винище,

задохнулась от фальши

и лжи.

Как ты, глупая,

слепо и рьяно

до небес возносила

тирана,

как молилась ему,

расскажи...

А теперь вот — блажи!..

Смертоносны глубокие раны твои,

честь и совесть пропили Иваны

твои.

В городах перекрашены в рыжие,

крутят чреслами Марьи

бесстыжие.

А в деревне, от хаты до хаты,

поллитровка

в обнимку с развратом,

входит в двери,

раскрытые настежь,

на погибель твою и несчастье!

А под соколов ясных

рядится твое воронье.

А под знаменем красным

жируют жулье да ворье.

Тянут лапу за взяткой

чиновник, судья, прокурор...

Как ты терпишь, Россия,

паденье свое и позор?!

Над тобою, распятой, березы

проливают горючие слезы,

изнывают поля и дубравы,

жухнут с горя шелковые травы,

и трубят тебе песни кручинные

в небесах косяки журавлиные...

Не берусь

исцелить тебя, Русь,

не берусь...

Понимаю, твои коммунисты-цари

крикнут мне:

— Замолчи, щелкопер, не дури!

Укроти-ка свой пыл клеветнический!

Русь отсталой была,

Русь сохою жила,

а при нас стала вся

электрической,

металлической,

чудо-космической...

Полюбуйся, другим укажи

: этажи, этажи,

поднимаются светлые здания,

города, города...

Нефть, алмазы, руда,

в дикой тундре

и то — созидание.

Лучше крикни: — Ура!

На полях — трактора,

в хатах светят

не свечечки сальные.

Телевизоры есть,

мотоциклов — не счесть,

есть авто

и машины стиральные.

Лапти где? Нет лаптей!

Посмотри на детей:

как картинки они принаряжены.

Ты учти, критикан,

выполняем мы план,

а в пустынях — каналы и скважины...

Мы от счастья поем,

мы к высотам идем.

Коммунист — это самое, самое...

Мы Россию спасли,

мы — надежда Земли,

не хулу,

сочини ты осанну нам.

...Комцарям я ответить на это готов

. Вы не зря мастера феерических слов.

Да, растут города,

да, гудят провода,

ледоколы сверхмощные строятся.

Есть и в космос разбег...

Ну а где Человек?

Ну а где Человек,

россиянин свободный,

с достоинством?

Я с тоскою смотрю

на «советских» людей.

Ни высоких стремлений,

ни светлых идей.

От начальства снося зуботычины,

Лишь с оглядкой лопочут:

«Что сделаешь мол?..»

Верно их, как плита,

придавил произвол

и запуганных, и обезличенных.

Что же станется завтра,

Россия, с тобой?..

Кто же правит сегодня

твоею судьбой?

Беззаконие,

Зло

и Насилие.

Кто поможет, скажи,

во спасенье души,

чтоб ты стала здоровой

Россиею,

чтоб ты стала

свободной Россиею?

Не берусь исцелить тебя, Русь,

не берусь...

И откуда прибудет спасение?

«В белом венчике роз»

пожалеет Христос?..

Чу!..

Мне слышится грозное пение:

Мы наточим топоры,

топоры,

их припрячем до поры,

до поры!

До поры, до времени,

а потом — по темени —

и-и-эх!..

Кто поет?..

Это — правда

иль слуха обман?..

А России душа

умирает от ран!..

Август 1977

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Чтоб не были люди

у смерти во власти,

сердце будет

вскоре запчастью.

Живое, бедовое,

выйдет из строя —

вставят новое,

крепче втрое!

Вот это наука!

Вот это искусство!

Но сердце без муки?!

Но сердце без чувства?!

Стучит равномерно

сто лет без износа,

машинка без нервов,

подобье насоса.

С таким хоть и дышишь —

да нет вдохновенья,

с таким не напишешь

стихотворенья,

не сможешь любить

и ни плакать, ни спорить,

ни соколом взмыть

и ни кинуться в море...

Ни скрипки, ни клавиш,

ни слез, ни сонаты...

С таким лишь прибавишь

еще бюрократа.

И я заявляю:

не надо мне оного!

Согласен

как крайность

на клапан нейлоновый...

1977

СТИХОТВОРЕНЬЕ НИ О ЧЕМ

Стихотворенье ни о чем,

ну, просто так, для упражненья.

Поэзия здесь ни при чем,

и непричастно вдохновенье.

Бездельничает мой Пегас,

он застоялся в самом деле,

от скуки взор его погас

и ноги впрямь отяжелели.

Еще немного — и, глядишь,

он станет непотребной клячей...

Садится солнце ниже крыш,

и наступает вечер, значит,

а — следом ночь, и спать пора.

Но я рискну полночным часом

взнуздать и оседлать Пегаса

и вскачь,

и пулей —

со двора!

Конь машет крыльями, как птица,

от наслажденья сам не свой.

Меня несет он над столицей,

то есть над матушкой-Москвой.

Как хорошо лететь в ночи:

не то что рядовым шофером,

а как придворным —

«кирпичи»

и красный окрик светофора —

все нипочем!

К тому ж, тем паче,

я не внизу,

не «под», а «над»...

Мой чудо-конь не просто скачет —

летит! И никаких преград!..

Мерцают звезды. Тихо,

тихо...

В тумане белом Млечный путь.

Рискну, пожалуй, заглянуть,

куда б вы думали?

В Барвиху!

Там, говорят, живут титаны

из стана «скромных и простых».

В толк не возьму:

к чему ж охрана

и брех собак сторожевых?

Я вижу: на широком ложе

спит Генеральный богатырь.

В зажатом кулаке, похоже,

он прочно держит целый мир.

В нем мудреца признал я сразу,

с ним —

в мирном деле и в боях —

не пропадешь:

сверкает разум

в широких и густых бровях.

Конечно, можете злословить,

моим восторгом пренебречь,

мол, что к чему,

при чем тут брови,

коль об уме заходит речь?

Что ж, дело ваше.

Но приметы

я лично внешние ценю.

Я волей Бога стал поэтом,

его за это не виню,

наоборот, хвалю, как надо,

хвалю отца, я — зрячий сын.

Припомните, земные чада,

те эпохальные усы!

Припомните хоть на минутку

их проседь, блеск и красоту!

Вам почему-то стало жутко

и вроде б даже сушь во рту?!

Подставь, мой современник, ухо,

и я спрошу тебя не зря:

ты помнишь правящее брюхо

и лысый череп звонаря?

Выходит, внешние приметы

совсем не пустячок для нас...

Уже спешит к закату лето

и до восхода ровно час.

Пегас летит, кружится лихо,

а ноздри пышут, как меха,

но вдруг отпрянул от Барвихи:

давай подальше от греха!

Я внял его предупрежденью:

«Гляди, огреют кирпичом!»

А я пишу стихотворенье,

ну просто так, для упражненья,

стихотворенье ни о чем...

1977

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР

Марш был для всех,

он был ничей —

для сборища, для лошади,

он был запевом для речей

и шествия по площади.

Оркестр был, как быть должно,

на солнце медь в свечении,

он марш играл, как лил вино,

для всех без исключения.

Но вот, розовощекий франт,

юнец, сапожки с глянцем,

на площадь вывел лейтенант

колонну новобранцев.

И не слабы, и не крепки,

и не обеспокоены,

идут в колонне пареньки —

почти солдаты, воины,

закуска Марсу на присест,

когда он разгуляется...

Вперед колонны встал оркестр,

как это полагается.

И лейтенант —

теперь орел —

шагание отменное!

Оркестр свое лицо обрел —

надменное, военное.

Был марш как марш,

но не любой,

ремнем затянут в талии,

гремел и призывал на бой

за что-то... и так далее.

Он красовался как в кино,

на солнце медь в сиянии,

он марш играл, как лил вино,

идущим на заклание,

когда настанет черный час,

когда война окрысится...

Оркестр трубил, как марсов глас,

зловеще и бессмысленно.

1977

\* \* \*

Говорят, что я счастливый,

будто родился «в сорочке»,

будто на волшебной ниве

и мои сверкают строчки.

Да, я знал судьбы поблажки,

это верно, но отчасти:

не в «сорочке», а в упряжке

добывал свое я счастье.

1977

\* \* \*

Оно, быть может, небылица,

оно, быть может, снится мне,

быть может, время мчится птицей

иль ветром скачет на коне?

Не знаю... Так или иначе —

тут не поделать ничего.

Год, как секунда, обозначен

иль вовсе не было его?

Но если был он, то не гулким,

не ярким для моей судьбы...

В дни лета — славные прогулки

в леса, с женою, по грибы...

И, словно искры из тумана,

вдали мелькание зарниц.

Лишь явь: для своего романа

соткал полотнища страниц.

Пожалуй, все... Уже у дома

шагает семьдесят восьмой —

пока безликий, незнакомый,

пока загадочный, немой...

Декабрь, 1977

\* \* \*

Еще не вьются на березах кудри...

Весна, увы, подходит к нам шажком.

И снова утром город наш припудрен

совсем ненужным мартовским снежком.

Завидую: сияет солнце где-то,

цветут сады,

газоны в травах сплошь...

А тут не небо — мокрая газета.

Какой в ней толк

и что ты в ней прочтешь?

1978

\* \* \*

Скорей,

скорее мне коня!

Я сроду на коне не ездил,

но я взлечу на нем

к созвездьям

мгновенно,

среди бела дня.

Нет у меня волшебных крыл,

а конь, известно, не ракета,

но душу я раскрепостил,

и мне доступна

скорость света.

И я, впервые с малых лет,

вздохну свободно,

грудью полной...

Вперед, мой конь!

Оставим след

неугасимый в бездне черной,

чтоб он горел

в наш мрачный век

над скованной моей страною,

являл — что может человек

с раскрепощенною душою.

Как он становится силен,

как расстается с рабской позой,

раз осознав, что он рожден

летать,

а не постыдно ползать,

что и насилия броня

слаба пред волей непокорной...

Скорей,

скорее мне коня!

Зажгу я факел

в бездне черной!..

1978

18 АВГУСТА 1978 ГОДА

И вот опять день моего рожденья.

За шесть десятков,

и каких притом!

Неудержимо времени теченье.

Ну а потом?

Известно — что потом...

Меня «поглотит медленная Лета»,

а там уж в руки не возьмешь пера.

Спешу внести свою живую лепту

в сокровищницу

Правды и Добра.

Не для того, чтоб отмечали дату —

мой день рожденья —

многие века.

Да будь моя мятежная строка

оружьем благородному солдату,

который нынче,

завтра,

напролом

пойдет на схватку с тыщеглавым Злом.

Увы, он победит врага нескоро.

Так будь в бою тверда его рука,

так будь ему оружьем

и опорой

на поле брани

и моя строка.

1978

\* \* \*

Я был бы настоящий воин,

добился б множества побед,

когда бы не был я раздвоен:

на «нет» и «да»,

на «да» и «нет»...

\* \* \*

Перо не тянется к бумаге,

и это, видно, неспроста.

К наполненной досадой фляге

едва ль потянутся уста.

Мелькают дни от мая к маю,

от января до января,

а я все жду да ожидаю:

когда ж взойдет моя заря,

заря живительной свободы,

свободы без КПСС?..

Увы! Как свечи тают годы,

но не свершается чудес...

1979

\* \* \*

Я расстаюсь со старым годом.

В нем неудач — не перечесть.

А новый зашифрован кодом,

который мудрено прочесть:

что в январе,

а что в апреле —

и не пытайся заглянуть...

Но знаю я:

к заветной цели

продолжу свой нелегкий путь.

Пойду

во что бы то ни стало,

и как бы я ни уставал,

я не пожалуюсь устало

и не захнычу: «На привал...»

Я сроду не бывал в продаже,

нет,

на меня не выбить чек.

Пусть цели не достигну даже,

я все же

есмь человек!

Я не мечтаю о награде,

мне то превыше всех наград,

что я овцой

в бараньем стаде

не брел на мясокомбинат.

Декабрь, 1979

ЗЕМНЫЕ РАДОСТИ

В погожий день, какого нет приятнее,

шел теплоход сквозь голубой простор.

Я был на палубе и спорящих приятелей

нечаянно подслушал разговор.

Один сказал: — Ты на пороге старости

и все еще толкуешь о борьбе.

Но вот ответь: ты знал земные радости?..

Поди, они неведомы тебе —

с гулянками, пикантными романами,

с уменьем быть женато-холостым,

с роскошными ночными ресторанами

и женщинами яркой красоты...

С курортами, служебными успехами,

с наградами, завистливой молвой,

с начальственными важными доспехами

и двухэтажной дачей под Москвой.

Всяк был бы рад вкусить такие сладости.

И ты себе признайся самому:

не смог ты получить земные радости

и не лукавь: «Они, мол, ни к чему»...

— Тебя, поверь, я слушал с удивлением, —

сказал другой, — я вовсе не ханжа,

я, как и ты, не против ублажения

и живота, и тела... Но душа?!

Земля, без суеты и без парадности,

всей красотой обращена ко мне

и дарит щедро мне такие радости,

которых не вкушал ты и во сне.

Волнует ли тебя садов цветение?

А трепетная нежность алых роз?

Мечтал ли ты при соловьином пении?

Любовно гладил ли стволы берез?

Иль одурманенный парами ресторанными,

плененный той, «завистливой молвой»,

не любовался тихими полянами

и звезд не замечал над головой?

Пойми, увидеть штука непростая,

как «спит Земля в сияньи голубом»,

и услыхать, как «роща золотая

отговорила милым языком».

Тебя ж слепит успех и миг удачливый

да женских губ накрашенный коралл.

Что ж, с новой «Волгой», двухэтажной дачею,

ты сам себя нещадно обокрал...

И удалились от меня приятели.

Меж ними, верно, продолжался спор.

Был ясный день, какого нет приятнее.

Плыл теплоход сквозь голубой простор.

1980

\* \* \*

Хоть мне уже за шесть десятков,

но я юнцом вскочил бы в круг

и ну давай плясать вприсядку,

когда бы в одночасье, вдруг

узнал, что пала тирания,

рассеченная вдоль ствола,

и что несчастная Россия

всерьез Свободу обрела!

1980

В СЕЛО СВЕТЛОГОРЬЕ ДОСТАВИЛИ ГРОБ...

           I

В Россию

из Афганистана,

на черных крыльях монопланов,

плывут,

плывут,

плывут гробы...

В них — убиенные Иваны,

двадцатилетние рабы,

рабы коварнейшего строя!

Нет, вы не пали как герои:

злодеями в чужом дому

вас смерть настигла,

мрак сокроет

вас, не известных никому.

...Почти мальчишками когда-то,

в руках с разящим автоматом,

за Родину мы шли вперед —

освободители - солдаты.

В народе подвиг наш живет.

А вас кто,

по какому праву

на смерть бесславную направил?

Какой вандал?

Каких кровей?

Чтоб стали вы червей потравой

во имя правящих червей?!

К чему вам те, чужие горы,

чужие города, просторы?

Своя ж земля полупуста!..

Непокоренных люты взоры,

их месть жестока,

но свята!

           II

В село Светлогорье

доставили гроб

с останками Вани Петрова.

Торчал

оцинкованный ящик,

как горб,

напротив родимого крова.

Казалось, что темень

накрыла крылом

средь белого дня Светлогорье.

И семь деревень окружили тот дом,

тот гроб,

то бездонное горе.

Селенья сомкнулись

в печальном кольце,

не веря, что парня не стало.

Несчастная мать,

без кровинки в лице,

над сыном своим причитала,

она причитала, безмерно скорбя:

—    Очнись, мой соколичек ясный!

Неужто затем родила я тебя,

чтоб ты был убит понапрасну?!

И женщины плакали горько вокруг,

стонало мужское молчанье.

А мать поднялась вдруг у гроба

и вдруг

возвысилась, как изваянье!

Всего лишь промолвила несколько слов

—    За них, — и на гроб указала, —

к ответу призвать бы

кремлевских отцов!

Так, люди? Я верно сказала?!

Вы слышите, что я сказала?!

Толпа безответно молчала —

рабы!

         III

В Россию

из Афганистана,

на черных крыльях монопланов,

плывут,

плывут,

плывут гробы...

Июль, 1980

\* \* \*

Строки мои, строки,

чудо иль не чудо?

Ваши где истоки,

кто вы и откуда?

Я того не знаю:

днями и ночами

я вас не слагаю,

вы родитесь сами.

Строфы мои, строфы,

вы — моя отрава,

вы — моя Голгофа,

честь моя и слава.

Три строфы высоких

песней в небо взмыли

и какой широкий

мне простор открыли.

Прочих супостаты

держат на запоре...

Строки-арестанты —

боль моя и горе...

Вы — мои посевы,

вы — из сердца соки,

вы — души напевы,

строки мои, строки...

1980

\* \* \*

Быть может, это совпаденье,

в чем тут секрет — мне невдомек:

почти всегда в мой день рожденья

бывает солнечный денек.

Еще вчера гуляли тучи,

не август — осень на дворе.

А нынче будто маг могучий

очистил небо на заре.

И наяву, не в чудной сказке,

в сиянье радостного дня

раскрылись снова лета краски

всё для меня,

всё для меня

и для моей котёнки тоже...

Прошу тебя,

на всем пути

свети нам чаще, если можешь,

свети нам, солнышко, свети!

1980

ЕРЕТИКИ

Еретиков в средневековье

сжигала церковь на кострах.

Так проще: убивать без крови

и всенародно сеять страх.

Иезуитам вопреки,

через костры,

застенки,

годы,

всё множатся еретики —

правофланговые свободы.

Непокоренные, они,

сегодня на Руси, в ГУЛАГе,

высоко держат правды стяги

как негасимые огни...

Еретикам и я сродни.

1980

\* \* \*

Угомонись ты, гуманист!

Хоть будь героем из героев,

хоть будь ты фанатичен втрое,

красно, как Цицерон, речист,

бей в барабан и день и ночь,

зови людей к Добру и Свету,

Зло, полонившее планету,

увы, тебе не превозмочь.

Вокруг — тугая темнота,

а ты всего-то слабый лучик!

Ты до смерти себя замучишь,

лишь повторив удел Христа.

А он в страданиях угас,

умолк, распятый на тесине...

В народной гуще, как в трясине,

тонул его призывный глас...

Угомонись ты, гуманист!

А коль не можешь —

что ж, как прежде,

вопи о призрачной надежде,

труби,

трагический горнист!

1980

\* \* \*

Я знаю,

я знаю,

я знаю:

жесток человеческий род.

He раз журавлиную стаю,

не раз лебединую стаю

таранил двуногий урод.

Но это лишь мелочь —

в сравненье...

Обличьем на волка похож,

втыкает в живот с упоеньем

двуногий двуногому нож.

Паденья людского минута,

а кто-то заметит: «Пустяк»...

Ведь есть палачи, что Малюта

пред ними ягненок как будто,

милейший мучитель-добряк...

Не вытерпит даже бумага,

и та захлебнется в крови,

коль ей палачи из ГУЛАГа

поведают прямо и нагло

бессчетные зверства свои.

Взгляните,

как зримо,

как зримо,

видна эта жуткая даль:

мрак адских печей Освенцима,

пылающий смерч Хиросимы

и ужаса стон — Бухенвальд...

Я знаю,

я знаю,

я знаю:

жесток человеческий род.

...Летит лебединая стая,

летит журавлиная стая.

Опомнись, двуногий урод!

Увы! Я напрасно взываю:

таков человеческий род!..

1980

САМОЛЕТ МОЕГО ДЕТСТВА

Давно это было...

Как быль-небылица,

летела, кружила

диковина-птица.

Сверкала на солнце,

мотором гудела,

какую-то песнь непонятную пела.

Тогда мне, парнишке,

такое открылось,

такую почувствовал я легкокрылость,

что стал я внезапно

отважен и смел,

рванулся и...

вроде бы в небо взлетел.

Но мне это так

лишь на миг показалось.

Диковина-птица

куда-то умчалась

и точкой пропала

в заоблачной мгле,

а я невесомо

стоял на земле...

Промчались, прошли

быстротечные годы.

Познал я труды,

и бои, и походы.

Да мало ли что со мной в жизни

бывало:

и штили, и штормы двенадцати баллов.

Каких я чудес нагляделся, о Боже!

Чему же еще мне дивиться?

И все же:

пред мысленным взором,

как быль-небылица,

опять надо мною

диковина-птица,

приветливо крыльями мне покачала...

И жизнь повторяется

будто сначала...

1980

ГОЛОС ИЗРАИЛЯ

Этот голос звучит не из рая,

за тысячи километров...

Слушаю голос Израиля,

голос далеких предков.

...Рощи шумят лимонные,

лунные, апельсиновые.

Мудрая речь Соломонова.

Песни седой Палестины.

Я и во сне не видывал

камни, развалины храма,

пышное царство Давидово,

скромный шалаш Авраама,

я и не знаю как следует

речи своей материнской.

Кости отцовы и дедовы

тлеют в земле украинской...

Мне же судьбою указано

слушать под небом неброским,

как на деревне, под вязами,

тихо поют о березке...

Речь всемогущая русская

стала навек мне родною.

Милая женщина русая

в трудной дороге со мною.

Что же прильнул я к приемнику?

В чем тут для слуха отрада?

Сердце мое неуемное,

что тебе, что тебе надо?..

1980

\* \* \*

Заря прогнала ночи тень,

красны восхода переливы.

Да будет светел этот день!

Да будет этот год счастливым!

Чтобы свобода больше мне

ночами долгими не снилась,

чтоб наяву, а не во сне

она в судьбе моей явилась.

Чтоб я о ней уж не блажил,

а наслаждался ею вдосталь,

свободно жил, дышал, творил,

ну лет по меньшей мере до ста!

1981

\* \* \*

В лесу, на бугорке,

есть «братская могила»:

она трех кенаров

останки приютила.

Ты к бугорку

неслышно подойди,

и сердце у тебя замрет в груди,

услышишь,

где-то рядом, над тобой,

три кенара поют наперебой.

Но где ж певцы,

чьи трели так прекрасны?

Во всем лесу

их не ищи напрасно!

Внимай, внимай,

отсюда — с бугорка,

летит живая песнь

за облака!

1981

ЛЮДСКАЯ ЛОЖЬ

Людская ложь

как острый нож,

понять ее немыслимо.

И там, и тут

бесстыдно лгут

от пола независимо.

К чему? Зачем?

Ну ладно б Кремль —

ему вранье, практически

оружье,

ширма

и оплот,

чтоб околпачивать народ,

то — блеф коммунистический.

Людская ложь

как острый нож

под самый дых доверия.

Под самый дых

себя самих?!

Нелепая мистерия!

1981

\* \* \*

Стою в раздумье на распутье

опять...

Но вот на этот раз

я, кажется, дошел до сути

без суеты и без прикрас:

шагай хоть влево,

хоть направо,

хоть прямо —

все одно и то ж,

повсюду ты нарвешься, право,

на пустодушие и ложь,

на всенародное бездумье,

на водопад слепых страстей,

на всемогущее безумье,

на царство денег и вещей!..

И замер я в оцепененье

у разветвленья трех дорог.

В каком идти мне направленье,

где б я вздохнуть свободно мог,

чтоб очутиться не в трясине,

чтоб пламень сердца не погас,

где б не вопил я, как в пустыне,

а был услышан в добрый час?!

Ведь жажду я такую малость,

взываю: — Помоги мне, Бог!

Не так уж долго жить осталось...

У разветвленья трех дорог

стою в отчаянии... Право,

меня охватывает дрожь:

шагай хоть влево,

хоть направо,

хоть прямо —

все одно и то ж!..

1981

\* \* \*

Каким бы ты ни был —

великим иль малым,

запомни:

безбрежность тебя

зачинала.

Пред бренным концом

не испытывай дрожь

Ты — вечный,

из вечности

в вечность

идешь

1981

\* \* \*

Мелькают дни за днями,

стремглав бегут года.

Поэты стариками

не будут никогда!

О нет, не рифмоплета,

не каплуна в саду,

а сокола в полете

имею я в виду.

Кто так раним и тонок,

но в битве — исполин

и кто душой ребенок

до голубых седин.

Живут, зовут веками

плоды его труда.

Поэты стариками

не будут никогда!

1981

\* \* \*

Пятнадцать лет

в тени

и в полусвете...

Чего ж еще ей ждать

в кордебалете?

С немой тоской

недостижимых грез

она смотрела

на балетных звезд...

...Лишь раз она

Улановой была:

зал ликовал, овация гремела!

О нет, она очнуться не хотела...

Она во сне

от счастья умерла!..

12 апреля 1981

\* \* \*

У нас сегодня юбилей,

неугасающая дата.

И неуместен здесь елей:

то, что открыто мной когда-то,

как прежде, остается свято —

и без прикрас,

и без затей —

живой родник души моей.

1981

НАВЕЧНО С ЖИВЫМИ

От старших и до новых поколений

внимай, внимай, народ родной земли,

мы не погибли на полях сражений:

на марше ураганных наступлений

с Победой мы в бессмертие вошли.

О нас гласят истории скрижали,

Давно легенды сложены о нас,

Во всех краях нам почести воздали...

Но мы рядов живых не покидали,

Навечно мы остались среди вас.

Смотрите, наши матери и жены,

Смотрите, возмужалые сыны,

За пеленой печальных похоронок

Нас двадцать миллионов непреклонных -

Солдаты мы в строю своей страны.

Плечом к плечу, в ночи и на рассвете,

Глаза мы не смыкаем на часах,

Чтоб похоронок не было на свете,

Чтоб мир не омрачился на планете,

Чтоб солнце не померкло в небесах.

1981

СТРАХ В КРОВИ

Мой друг, душою не криви,

ты знаешь правду, без сомненья:

у наших граждан

страх в крови

от самого их дня рожденья.

Давным - давно,

с тех грозных дней

октябрьским шквалом незабвенным

вонзен был

страх

в сердца людей

и стал неистребимым геном.

И ВЧК,

И ГПУ,

и долгим сталинским кошмаром

был загнан, как овец отара,

народ на узкую тропу.

Направо — круча,

слева — круча,

ступай вперед, за шагом шаг,

иначе — пуля неминуча,

в счастливом случае —

ГУЛАГ...

Страх

нас заставил позабыть,

что мы не тли,

а человеки!

Он диктовал,

как должно жить,

пока мы не закроем веки,

пока не превратимся в прах...

Но ведь бывает чудо тоже:

а вдруг

мы одолеем страх

в своей крови?!

О правый Боже,

o вечный разум, освети

путь ослепленному народу,

от трусости

раскрепости,

достоинство

дай обрести

и пожелать, как свет,

Свободу!

1981

\* \* \*

Денек сегодня хмурый —

зима и не зима.

Я не сижу понуро

и не схожу с ума,

не ною и не плачу,

не сетую на жизнь.

Удачи нет?

Тем паче:

держись, старик,

держись,

хоть никуда не деться

порою от тоски,

хоть время глушит сердце

и серебрит виски...

И в этот час,

с надеждой

преодолеть грозу,

я улыбнусь как прежде,

смахнув с лица

слезу.

1 января 1982

НА СМЕРТЬ ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА

В Кремле преставился палач...

Господь прибрал злодея к месту.

В толпе — о диво! — вижу плач

и слышу скорбный стон оркестра.

В Колонном зале, весь в цветах,

роскошный гроб с усопшим грузом.

Стоят гвардейцы на часах,

и в черном крепе Дом союзов.

Мне кажется, не мертв, а спит

притворным сном иезуит.

Вот выкинет сейчас он штуку:

скосит свой тонкогубый рот,

костлявую протянет руку

и... ну давай душить народ!..

Подушит в полную усладу,

как он при жизни это мог, —

и в гроб...

И вновь баранье стадо

пойдет «отдать последний долг»,

оплакать «тяжкую утрату»,

«страдальца небо упокой...».

— Эх, — вопрошаю я с тоской, -

чего ж ты стоишь,

род людской?!

1982

\* \* \*

Ах, не сложилась песня

у меня сполна:

вот она — депрессия,

мутная волна...

Словно бы возмездие

за мои грехи!

Тут ли до поэзии —

сочинять стихи!..

Мерзкое обличие

вяк да вяк...

Пальцем в душу тычет:

— Ты червяк,

ты повис над кручей,

раз... и нет!..

Накрывает тучей

белый свет...

Ах, ком стоит у глотки,

пухнет голова...

Но у сердца все-таки

греются слова.

Я тебе, депрессия,

остов размозжу!

Начатую песню

до конца сложу!

Ах, с ней взлечу

за тучи я

да за пределы лет.

Врешь, змея гремучая,

мне с песней смерти нет!

1982

\* \* \*

Случится то зимой ли, летом

в ночи, иль днем, иль поутру

Пришел я в этот мир поэтом

поэтом из него уйду.

1983

\* \* \*

Так вот какая штука:

я многого достиг:

я — дедушка без внуков,

писатель я без книг.

1983

\* \* \*

Давно я не рифмую строки,

за исключеньем пустяков,

о, как безжалостно жестоки

коварных хворостей наскоки,

пожалуй, пострашней оков!

Весною прошлой, прошлым летом

висела жизнь на волоске,

И ты, хоть трижды будь поэтом, —

не озаришь,

не брызнешь светом,

когда душа твоя в тоске,

когда один ты воин

в поле,

а поле —

роковой недуг,

грозит сглодать тебя без боли.

Ты это чуешь...

Где ж тут воле

овладевать строкою вдруг?

И без того была усталость,

с овчинку небо мнилось мне.

Уже не за горами старость...

Как достается, как досталось

моей страдалице-жене,

единственной моей опоре

и радости моих очей.

Мы победим, я верю, в споре

напасти, горести...

И вскоре

рассеют долгий мрак ночей

потоки солнечных лучей.

Не раз был сломлен нами враг.

Аминь!

Да будет снова так!..

1983

\* \* \*

Великий и обыкновенный,

алмазу равный и золе,

я — человек,

среди Вселенной

живу на матушке-Земле...

Ничтожество

в скопленье вечном.

Мне на житье отпущен миг.

Но миг,

в себя вместивший

вечность...

Я это разумом постиг.

1983

\* \* \*

Есть и страх,

и страданье...

только, друг мой,

держись!

Не иду на закланье,

а на битву за жизнь!

Мы с тобою, родная,

перед пасмурным днем,

силой духа не тая,

крепче руки сожмем.

Свет не только в оконце,

и границ ему нет.

Верь, дарить будет солнце

и тепло нам, и свет

много радостных лет!..

Переступим порог.

Да поможет нам Бог!

21 ноября 1983

Больница, накануне

второй онкологической операции.

\* \* \*

Опустела голубятня

напротив нашего дома.

Такое вполне вероятно,

обычно и так знакомо.

Но утрата, увы, не простая:

там голуби весело жили,

взлетали

за стаями

стая

и облаком белым кружили,

кружили зимою и летом,

не думая, не гадая,

что радость людям при этом

даруют, в небе летая...

Как облако, белая стая.

И вдруг —

голубятня пустая...

1984

18 АВГУСТА 1984 ГОДА

Болезнями, летами маясь,

в свой день рожденья

в красный день,

не опускаюсь —

поднимаюсь

еще к вершине на ступень.

Достигну вряд ли я вершины,

но, видя пред собой звезду,

как полагается мужчине,

я к ней иду,

иду,

иду!..

Хоть знаю:

время сердце студит

и я старею, как любой.

Так пусть всегда со мною будет

надежда,

вера

и любовь!..

1984

\* \* \*

Коль открыта рана

и не заживает,

поздно или рано

рана убивает.

1984

\* \* \*

Нет, ни к чему красивость слов

и никакие заклинанья:

меж нас основа из основ

давно прошла все испытанья.

Не знаю, ты — моя любовь

иль вечное очарованье?..

Но верно: ты — мое дыханье,

и ни к чему красивость слов.

1 декабря 1984

КВАДРАТУРА КРУГА

Мне что-то страшно,

что-то жутко,

сегодня тот я и не тот...

Тоска-кручина не на шутку

берет все злее в оборот.

Куда девается отвага?

Стеною предо мной гора,

по ней не двинуться ни шага...

А Время требует: — Пора,

иди, хоть вовсе нет дороги,

преодолей и страх, и дрожь,

а то, глядишь, сдадутся ноги

и ты на месте упадешь.

Я, Время, знаю:

путь твой труден —

такой положен для бойца.

А ты, поэт, ты служишь

людям,

неси же крест свой до конца!

Крепись,

не станешь ты моложе,

о нет, увы, спеши дерзать,

ведь то, что ты

поведать сможешь, —

другой не в силах рассказать.

О, Время, все я разумею,

твоим советом дорожу.

Я одолею что сумею

и людям словом послужу.

Молюсь, надеюсь —

Бог поможет...

Не вытирая пот с лица,

пойду вперед

по бездорожью,

отдамся песне

до конца...

Декабрь, 1984

\* \* \*

Вот-вот шагнет через порог

год новый — восемьдесят пятый.

Ко мне он будет добр иль строг,

благословенный иль проклятый?

Как луч направить в темноту,

волшебный луч великой силы,

чтоб близь, и даль, и высоту,

как на ладони осветил он,

и я узнал бы наперед,

что ждет меня с женой-подругой:

иль наконец — счастливый взлет,

иль снова поединок с вьюгой?

Не хватит ли? Худому — прах!

Тем паче — добрая примета:

сегодня солнце в небесах

сияет, будто в пору лета.

Чуть в легкой дымке небосвод,

денек, как говорят, на славу!

...Будь милостив к нам, новый год,

Мы это заслужили, право!

31 декабря 1984

\* \* \*

Ох, как нынче насугробило,

намело невпроворот.

Но меня то не расстроило,

а совсем наоборот.

Мне, поверьте, даже весело,

хоть ворчу в сердцах порой,

одолеть из снега месиво,

будто вновь я молодой,

словно вдруг пустился в пляску я,

будто все мне трын-трава...

Кажется февральской сказкою

наша зимняя Москва.

Благодарен я особенно

этой редкостной зиме:

слово-образ

«насугробило»

щедро подарила мне.

Никаких богатств накапливать

в личный сейф я не привык.

Влейся, слово, новой каплею

в русский океан-язык.

1885

\* \* \*

И поныне слышу я

шепот нежных слов.

Под барачной крышею

родилась любовь.

Пей, новорожденная,

молоко-эрзац:

Коечка казенная

жиденький матрац...

Пой, душа бездонная,

утверждая вновь,

что любовь бездомная —

крепкая любовь.

Март метет снежинками,

землю порошит,

голубыми льдинками

горизонт прошит.

Звоном с переливами

занялся рассвет.

А меня счастливее

в целом мире нет.

Раненный, контуженный

отставной солдат,

я с моею суженой

нищий, да богат.

Спи, моя хорошая,

ведь любить не грех.

В платьице поношенном

ты красивей всех.

...Мы с тех пор протопали

тридцать девять лет,

мы с тобою «слопали»

много тяжких бед.

Все же нас счастливее

в целом мире нет!

Звоном с переливами

занялся рассвет.

1985

\* \* \*

С тобой мне ничего не страшно:

с тобой — парю,

с тобой — творю,

благословляю день вчерашний

и завтрашний боготворю.

С тобой — хоть на гору,

за тучи,

хоть с кручи — в бездну,

вместе, вниз...

И даже смерть

нас не разлучит:

нас навсегда

венчала

Жизнь!

1985

\* \* \*

Известно это:

каждый след — «пока»,

один — на год,

бывает — на века.

Но даже самый яркий

пропадет:

ничто на свете вечно не живет...

Ты оставляешь след свой

на пути,

чтоб мог другой

уверенней идти.

1985

\* \* \*

Квадратура круга —

что в упряжке вьюга,

что пахать без плуга,

радость от испуга.

Круга квадратура —

кол — клавиатура,

два крыла для тура,

из соломы шкура...

Глупо и нелепо

и непостижимо...

Ну а если надо

и необходимо?

Ну а если годам

вовсе нет возврата,

если гибель в круге

без его квадрата:

круг петлей сожмется —

нет сердцебиенья.

Квадратура круга —

только в том спасенье.

Нам одно осталось:

что бы ни случилось,

биться, не сдаваться

дьяволу на милость.

Как бы там ни туго,

нам, моя подруга,

клин вспахать без плуга,

взять в упряжку вьюгу.

Круга квадратура —

смастерить для тура

два крыла, чтоб с кручи

он взлетел за тучи.

Глупо и нелепо?

Но... необходимо.

Если это надо,

значит — выполнимо!

1985

МОЙ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Когда он был — мой звездный час —

вчера или давно?

Сверкнул он ярко и погас?

Мне ведать не дано.

А может быть, совсем не так:

сиял он надо мной,

когда из пламени атак

я выходил живой.

Возможно, был он — этот час —

один на всем веку,

когда мальчишкой в первый раз

я рифмовал строку?

Наверно, нет.

Потом зимой,

когда, во всей красе,

прочел впервые опус мой

на третьей полосе.

Я двадцать пять газет купил —

себе и напоказ.

Да, очевидно, он пробил

тогда, мой звездный час.

Бежали годы... Верно, вновь

он просверкал сильней,

когда на вечную любовь

я повстречался с ней...

о, сколько бедствий и преград

досталось нам с женой...

Стихом ударил я в набат

на весь на шар земной.

Я будто стал могучекрыл,

и, может быть, как раз

он нам заветный путь открыл —

наш общий звездный час.

Так почему же черствый ком

щемит в моей груди

и слышу я: «Потом, потом,

тот самый, самый, погоди,

зажжется впереди...

тот самый в вышине».

При мне... иль не при мне?..

1985

ЮБИЛЕЙНОЕ

К своему семидесятилетию

С надеждой, верой и тревогой

не сплю очередной рассвет...

Неужто я прошел дорогой

длиною в семь десятков лет?

Такой тернистой и опасной —

и не представить наяву.

Что ж, настрадался не напрасно,

не зря, не попусту живу.

...Пока не канул я в пучину,

пока гореть во мне огню,

я буду штурмовать вершину

и совести не изменю.

То не риторика бахвала,

а прожитого мною суть,

таким природа-мать зачала,

таким я свой закончу путь.

Сегодня не хочу итога,

пускай пора тому пришла...

Рассвет...

Надежда и тревога...

А впереди — дела, дела...

Рука в руке шагаем вместе,

а где-то впереди — итог.

Над нами вечные созвездья.

Рука в руке.

И с нами Бог.

18 августа 1985

ЭТЮДЫ

1

Перед моим окном

поляна.

За нею — зимний лес.

Снежинки плавно падают...

Какая тишина!

Который час?

Который нынче год?..

2

Береза

бурей сломана,

она

стонала тихо,

умирая.

А крона

все еще густа и зелена —

живая.

3

Шквал налетел.

Темень кругом.

Вспышки слепящие,

ливень и гром.

Гнется большая сосна,

как лоза, —

гроза!

4

Рябины урожай обильный.

На дерево уселись свиристели.

Их песенка

рябиново-красна.

5

День за днем

крепчает лед.

Спит в затоне пароход.

Снег.

Метели.

Кутерьма.

Зима!..

6

Сулящие надежду корпуса.

С грустинкою глядящие

глаза.

На белых койках

желтоваты лица...

Больница...

Декабрь, 1985

\* \* \*

Быть мужественным, честным до конца -

в том жизни суть поэта и борца.

Судачит обыватель: «Вот урод!»

А я таким иду из года в год.

Иного не хочу иметь лица:

быть искренним и честным до конца!

1985

\* \* \*

Средь «царства Берендеева»,

средь шума городского —

везде я слышу: «Бей его!»,

всегда я слышу: «Бей его,

создание евреево такого и сякого!..»

1985

\* \* \*

Я не похвастаю доходом:

год миновал еще один...

Увы, прибавилось седин

и жить осталось меньше годом.

Да, семь десятков!.. Завтра старость.

Ведь вечер это, не рассвет...

Так сколько зим и сколько лет

идти до финиша осталось?

Ну, как мне сердце разогреть,

чтоб не сдавалось, не остыло,

чтобы хвороба не скрутила,

чтоб мог врагов я одолеть?!

А фронт все остается фронтом,

пока не кончится война...

А горизонт — за горизонтом,

хотя черта его видна.

Воюю. Тяжела расплата.

Нет, я оружья не сложил.

Пусть времени в обрез и сил,

но... такова судьба солдата.

Приговоренный сам собою,

не покидаю поле боя.

Я не покину это поле,

пока стихи мои в неволе.

1 января 1986

\* \* \*

Нет, я сегодня не горю,

скажу вернее: тихо тлею...

Не хнычу я и не хандрю,

надежд напрасных не лелею.

Что есть, то есть:

и пресс годов,

и тяжкий груз болезней мерзких,

и сонмище моих врагов,

тупых и беспощадно зверских...

Ох и унылая пора!

Ползут никчемные недели...

И до чего ж мне доктора

своей опекой надоели!

Ведь даже лучшим все равно,

уж вы мне на слово поверьте,

волшебной силы не дано

сильнее быть судьбы и смерти.

Им и жены моей не жаль.

Врачи добрей должны быть вроде.

Вот-вот окончится февраль,

весна к столице на подходе.

И что она мне принесет —

тепло и лес, листвой звенящий?..

Хотя б один высокий взлет,

последний пусть, но настоящий!

Какая мука тихо тлеть...

19 — 20 февраля 1986

\* \* \*

Колеблются незримые весы,

колеблются меж тем

и этим светом...

И все-таки я дожил до весны,

и все-таки остался я поэтом.

Хоть мысли, что и говорить, грустны,

но я надеюсь песней встретить лето,

пусть лебединой песней, но такой,

которую доселе не слыхали,

что вольным ветром ворвалась бы в дали,

звучала призывающей строкой,

чтобы ее повсюду услыхали,

как гром пред освежающей грозой.

Чего ж глаза мои, как будто от печали,

туманятся непрошеной слезой?..

Ах да!.. Колеблются незримые весы,

колеблются меж тем и этим светом...

И все-таки я дожил до весны,

и все-таки остался я поэтом.

Март, 1986

\* \* \*

Сегодня помыслы и чувства

мои болезненно глухи.

Но «жертвы требует искусство»,

и должен я писать стихи.

Пусть не по-пушкински высоки,

но все же с отблеском зари

из-под пера возникнут строки,

а это, что ни говори,

уже поэзии начало.

С бумаги позовут слова:

прислушайся, как зазвучала

вокруг весенняя листва.

Зима не миновала казни,

вернее, изгнана она.

Какой справляет светлый праздник

чуть запоздалая весна!

Она приносит людям радость,

ее творения просты,

она от впадин

к солнцу, разом

наводит майские мосты...

Очаровательна, чиста,

ясна неугасимым светом,

струится всюду красота,

как сказку, предвещая лето.

5 мая 1986

\* \* \*

Мне стало тяжко жить на свете...

Длинней мне кажется верста...

Никак не в силах одолеть я

пространство чистого листа.

Не замечаю даже зори

и раньше восхищавших лиц.

Как змеи жалят, жалят хвори.

Порою за ночь не сомкну ресниц.

За что, за что мне это, Боже?!

Я не пойму, не уясню никак.

Ведь по такому бездорожью

сломаться может даже танк.

Июль, 1986

\* \* \*

От родимого порога,

круто к небу от земли,

прямо на свиданье с Богом

меня нынче повезли.

24 июля 1986 По дороге в больницу.

Последнее стихотворение

**САТИРИЧЕСКИЕ СТИХИ**

ЕГО ЧАС

Стоит в магазине у входа швейцар.

Устал он к двенадцати:

все-таки стар.

Плывет

и плывет

человечий поток...

Незряче глядит на толпу старичок.

Часы пробивают

и шесть, и семь...

Швейцар задремал, не замечен никем.

Но вот и — восемь!

Звонок — один...

Поднялся швейцар,

в ореоле седин.

Второй.

Продолжительный третий звонок!

Старик

рассекает

дверью поток:

— Граждане, восемь!

Закрыт магазин!

У запертой двери стоит —

Властелин!

1953

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ БАРАН

Басня

Не то за круглый стан,

не то за тихую натуру

попал обыкновеннейший баран

в номенклатуру.

Покуда управлял он стадом,

Волкам жилось что надо!

Они «точили»

белые клыки о шашлыки

и жрали сало до отвала...

Но вот Баран с поста смещен.

Однако

он был без промедленья утвержден

главой к сторожевым Собакам.

Понятно,

какова охрана

под предводительством

Барана:

овчарки спали ночь,

резвились целый день —

тащи добро, кому не лень!

Пришлось опять

номенклатурного

с работы гнать.

Но вскоре

он наследил в «Копытконторе»

затем

перемутил «Главводопой»,

затем...

Затем, в конце концов, открыли,

что он всего-то навсего —

баран простой...

И ахнули:

«А где ж мы раньше были?!»

Мораль: к руководящему посту

не допускай барана

за версту.

1954

ЧЕРВЯК НА ВЫСОТЕ

Басня

То не мираж,

бывает в жизни так:

какой дорожкой — неизвестно

(но факт, не по стене отвесной),

попал на сто второй этаж

Червяк.

От непомерной высоты

он возомнил себя титаном.

И, как ни странно,

стал Солнце окликать: — Эй, ты!

А что касается Луны

и звезд второй величины,

Червяк заметил между прочим:

—    Да это так, пятно. И многоточье...

Ему смотреть на Землю не с руки:

—    Ну, кто там? Червяки!

А я, — развязно хвастал он,

— я — Анаконда, я — Питон,

пристала голове моей корона...

Но тут случись Ворона:

—    Крра, крра, люблю я червяков!

Раз клюнула — и был «Питон» таков.

Как видите, его величье

легко скользнуло в горло птичье.

Выходит, и на высоте Червяк,

как ни кичись — пустяк!

1962

РАСТОЛКУЙ НАМ, БОГОРОДИЦА!

Жил на свете

Гад с Гадюкою

и Гаденышей баюкали.

И росла семья змеиная,

извивались

твари длинные,

с виду гладкие да сытые,

злющие и ядовитые,

всех кругом нещадно жалили

и при этом

Бога славили.

Был указ об истреблении

этих тварей.

Тем не менее

их хозяева не трогали,

им давали «гоголь-моголи».

От ужаленных,

из жалости,

змеям направляли жалобы...

Растолкуй нам, Богородица,

почему же гады водятся?

---------

Жил на свете

Волк с подруженькой,

и дрожала вся окруженька.

Тут и там

сии разбойнички

для себя имели

бойнички,

сотнями

барашков резали

и телятинкой не брезгали...

Был указ об истреблении

этих тварей.

Тем не менее

стая разрослась

отличная,

и открыли ей

шашлычные...

От баранчиков,

из жалости,

волкам направляли жалобы.

Растолкуй нам, Богородица,

отчего же волки водятся?!

------------

Жила, резвилась

Крыса рыжая,

злая, наглая, бесстыжая.

Днем — с одним,

с другим — потемками...

Крыса сыпала потомками.

Умножались быстро «лапушки» -

копия своей прабабушки.

Был указ об истреблении

этих тварей.

Тем не мене...

Мало ли что было сказано!

Крысы грызли безнаказанно,

и Священное Писание

им сгодилось на питание.

От искусанных,

из жалости,

крысам направляли жалобы.

Растолкуй нам, Богородица,

отчего же крысы водятся?!

1964

ОСЕЛ И СОЛОВЕЙ

Басня

Бывает всякое на свете...

Осел служил в Музлессовете

и с мудростью ответосла

решал дела.

Однажды притащили два Барана

Ослу концерт для барабана.

Осел воскликнул: «Браво! Браво!

Вас, братцы, ждет большая слава!»

За сочиненье для коров

«Вечерний рев»

пикантная Ослица

была восхвалена как мастерица.

...Ив ясный день в начале лета

к Ослу явился Соловей.

Предстать пред взором музавторитета

он не решался много дней.

Но поздно, позади порог...

«А может, консультант не очень строг?»

подумал Соловей с волненьем

и робко ноты протянул...

На серенькую птичку с удивленьем

Осел взглянул,

зевнул,

по нотам пробежал понуро,

хотел изречь: «Халтура!» —

но, вспомнив басню едкую Крылова

про глупого Осла и Соловья,

подумал:

«Нет, сплеча рубить нельзя».

И вслух сказал: — Кажись, толково,

но, видите ли, я не знаю глотки,

чтобы могла такое «си» пропеть...

Творение нуждается в доводке,

в солидной обработке,

А там уж как решит Медведю...

Да, нынешний Осел в сужденьях дипломат,

и предка своего вредней он во сто крат!

1965

СВИНЬЯ В ГАБАРДИНЕ

Басня

Решив, что дорогой наряд

любого ставит в первый ряд,

Свинья себе приобрела

роскошное пальто из габардина

и прямиком, из магазина,

во двор пришла.

—    Ого, — какая вы, Хавронья! —

сказал Козел не без иронии, —

теперь вас не узнать —

ну просто «знать»!

—    С кем говоришь, грубятина, невежда?!

Сидел бы ты в хлеву в такой одежде,

— Свинья Козлу отрезала в упор:

—    Позор!

—    Ох, до чего ж вы интересны, —

двусмысленно польстил Полкан.

—    А ты все паришься, болван,

в своем костюме грубошерстном!

Не тявкай и не зли меня, —

брезгливо бросила Свинья.

С тем модница полезла в грязь,

где с наслажденьем разлеглась.

––––––––––––

Нет, никакие габардины

не смогут скрыть свиной щетины.

1965

ДУБИНА

Басня

На чердаке,

в укромном уголке,

под сеткой паутины,

стояла толстая Дубина.

Неведомо когда

и кто занес ее туда,

но от нее ни пользы, ни вреда

ни потолку, ни крыше.

Гуляли смело по Дубине мыши,

иной раз крыса краешек грызнет,

иной раз пробегут по ней букашки...

Кому ж на ум придет

бояться деревяшки?

Но вот однажды на чердак

залез Дурак —

дороднейший детина.

Ему попалась на глаза Дубина.

—    Эх, хороша! — взыграла сила Дурака,

а у него была крепка рука.

Дубиной он взмахнул над головой —

полкрыши враз долой!

—    А ну, держись! — Дурак во весь опор

влетел во двор. —

Сейчас всем будет жарко! —

Одним ударом уложил Овчарку,

хватил сибирского Кота вдоль живота,

и заодно тяжелая Дубина

Корове перебила спину,

короткий счет свела с Козлом...

Разбой прикончил, говорят,

с большим трудом милиции наряд.

–––––––––

Дубина не страшна,

пока орудием не стала Дурака.

1965

ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ

Однажды к морю рыбачок, в субботу,

отправился на рыбную охоту.

Хоть верьте, хоть не верьте,

но вовсе не простую —

поймал, на сей раз правда,

он рыбку золотую!

Прикинул, сколько

стоит диковинный улов...

И вдруг в испуге обмер

от человечьих слов:

—    Пусти меня на волю,

удачи миг лови!

В награду три желанья

исполню я твои...

Опомнился и молвил:

— Желаю для начала,

чтоб море соленое водочным стало!..

Лишь хвостиком махнула

та рыбка-златоперка,

хлеонул он из моръя — чистейшая горькая

И снова он услышал

той рыбки голосок:

—    Чего еще желаешь,

мой добрый рыбачок?

И стал тогда счастливец

решать - соображать:

чего б еще такое

рыбешке приказать? Сказал:

— Пускай и в речке,

не пожалей труда,

течет-струится водочка,

не пресная вода.

Лишь хвостиком махнула

та рыбка-златоперка,

черпнул он из речки — чистейшая горькая!

—    Теперь, — сказала рыбка, —

желанье номер три,

хороший человече,

скорее говори.

Он думал, думал, думал...

В душе была борьба.

И наконец изрек он,

пот вытерев со лба:

—    Ты не морочь башку мне

и больше не зови.

Давай еще поллитра

и с Богом прочь плыви!..

1965

ВО ПОЛЕ БЕРЕЗОНЬКА СТОЯЛА

Во поле березонька стояла,

а над нею солнышко сияло.

И была березонька на диво

статью и осанкою красива.

Ничего, что во поле широком

дерево стояло одиноко:

по весне среди ветвей зеленых

раздавались трели птиц влюбленных,

поздним летом улетали птицы,

но звенела спелая пшеница.

Было в одиночестве не худо.

Не березка выросла, а чудо.

Жил во городе Петров Геннадий,

гладенький и спереди и сзади,

не шофер, не пекарь и не плотник,

по профессии — ответработник.

Как да что — я не скажу ни слова,

но... остался не у дел он снова.

В «кадрах» встретили Петрова хмуро:

все же как-никак номенклатура!

Стали работенку подбирати —

только подходящей нету кстати.

И номенклатура загрустила.

К счастью, зава что-то осенило:

—    Вспомнил, надлежащее есть место:

во поле березка, как невеста,

скучно ей одной там и печальненько.

Будете, Петров, при ней начальником.

Вот стоит Петров пред подчиненной,

пред березонькой кудрявой и зеленой,

—    Кто вы, — говорит она, — что надо?

Жарко, видно, ищете прохладу?

—    Нет, — ответил, — я не посетитель,

я отныне твой руководитель,

я — Петров, мне не нужна прохлада,

я пришел, чтоб навести порядок.

И увидел: на березе птицы.

«Этак, — он подумал, — не годится,

песнями невесту раздражают.

И о чем щебечут? Шут их знает!

Мало ли чего болтают сдуру?..

Надо бы приставить к ним цензуру!

Ну а посему мое решенье —

гнать отсюда всех певцов в три шеи!»

—    Бей их, — приказал Петров завхозу, —

чтобы не садились на березу!

—    Так-с, — сказал Петров, — кору не трону,

для начала обкорнаю крону.

А еще я не согласен в корне

с тем, что разрослися слишком корни.

—    Подрубить, — он приказал, — отростки!

Покатились слезки у березки...

И листва до срока облетела.

К августу невеста почернела.

Во поле березонька стояла,

во поле березоньки не стало...

Повесть начинается сначала.

В «кадрах» встретили Петрова хмуро:

все же как-никак номенклатура.

Начал зав уже немного злиться.

Но... (Тут мне придется с ритма сбиться.)

В лесу родилась елочка

как будто напоказ.

И зав решил, что к елочке

приставить надо «глаз».

Достал он папку с полочки,

и в ней он записал, что он Петрова

к елочке начальником послал...

1966

ЖИВ, КУРИЛКА!

Годами на ответственных дверях

табличка красовалась,

как надгробие.

Читали

с замиранием в сердцах,

молились: там сидел —

«их преподобие»...

Вдруг

налетел

могучий ураган!

Сорвал с дверей

зеркальное «надгробие».

Но... за дверьми,

блюдя свой важный сан,

по-прежнему сидит —

«их преподобие»...

1965

В СЕМЬЕ ЗАВАРИЛАСЬ КАША

В семье заварилась каша —

Ван-Ю-Ша Ванюшу бранит:

— Ты продал родного папашу,

подонок, подлец и бандит!

А Ваня ругает Ван-Ю-Шу:

— Заткнись, проходимец и гад,

ты предал отцовскую душу,

какой ты мне, к лешему, брат?!

До драки дошло, до побоев,

братишка на брата — ох, лют!

И, как из брандспойта, помои

друг другу на головы льют.

В семье заварилась каша:

«Своя своих не познаша»...

1978

ПЕРВОМАЙСКОЕ

Праздник Первомай и... снегопад!

Это, скажем прямо, невпопад.

Это, Боже, слишком злая шутка,

от которой и смешно, и жутко.

Ну и наплевать! Вы только гляньте,

как шагают бодро демонстранты!

Сколько улыбающихся лиц:

ликованью — просто нет границ!

Люди лихо пляшут и поют,

словно бы трансляция из рая —

телеоператоры

в раю

праздник Благоденствия снимают.

В ясном небе —

реют кумачи!

То есть, что я?!

Флаги голубые!

На деревьях

зреют куличи,

в чистых реках —

вина золотые...

Ешь и пей,

лежи себе под кущами,

горизонт не омрачится тучами:

ни тебе войны и ни солдат,

каждый человек —

друг другу брат.

На трибуне мраморной

святые

принимают шествие—парад.

В честь святых отцов кричат:

«За здравие!»

Над Москвой летит снежинок пух...

Ну и пусть!

Свобода! Равноправие!

Что — владыка главный,

что — пастух!..

Ни тебе ворья и ни жулья,

ни бюрократической саркомы,

а уж что касается жилья —

у любого райские хоромы!

В самый раз —

веселие и смех

и, конечно, озорная шутка!

Праздник Первомай.

А с неба — снег...

Непонятно...

И чудно...

И жутко...

**МИНИАТЮРЫ, ЭПИГРАММЫ**

\* \* \*

Я родился под дырявым кровом,

мыкал горе, кушал лебеду...

«Но если прикажешь мне снова,

я снова все это пройду»...

1954

\* \* \*

Пишет вроде о природе,

угольке, и хороводе,

и о запахе ухи.

До чего ж его стихи

бесподобны как пародии!

1954

\* \* \*

Ты теперь высоко, высоко.

Под тобой — облака, облака.

До Шекспира дойти нелегко.

До Правленья — четыре шага.

1954

\* \* \*

Он пьесу написал «Про то»,

Потом большой роман — «Про это»,

Затем — отчет: «Как ехал где-то».

Он мог, конечно, стать поэтом,

А получился так... никто.

1954

\* \* \*

Он от рождения горбат

и в том ничуть не виноват.

А что стихи его «горбаты» —

так в том евреи виноваты.

1954

\* \* \*

Брось ты енты

комплименты,

не возьму я бусы, ленты,

полушалок голубой.

Ох ты, ох ты, парень с Охты,

хоть бы цвел ты, хоть бы сох ты,

не пойду гулять с тобой:

сам Прокофьев на коне

едет женихом ко мне.

1954

\* \* \*

Ох, Олёна, ты Олёна,

больно ты умом ядрёна!

Ох, Олёна Фомина,

ты и за меня скромна.

И с тобой, моя Олёна,

сжали мы... полмиллиона.

1954

\* \* \*

Пройдет, быть может, десять тысяч лет,

снежинкой бывший пролетит поэт.

И, о любви трактатов не слагая,

безмолвно на ребеночке растает...

Поэтом дорожить умейте.

Снежинкой дорожить вдвойне...

1957

\* \* \*

Глупый, маленький мышонок

маме говорит спросонок:

«Не усну я, верь, пока

не пришлешь мне Маршака».

Через месяц, на заре,

подошел Маршак к норе,

ищет глупого мышонка,

а мышонок — на «Костре» ...

Он подрос и возмужал,

и от «папы» убежал...

1958

\* \* \*

Господи!

Если уж так тяжки грехи мои,

и если ты должен покарать меня

за прегрешения мои,

разори меня до последней нитки,

но не нашли на меня

и близких моих болезни,

не помути моего разума!..

1964

\* \* \*

Нет, матери вовек забыть не в силах

8 солдатской кровью обагренных дней,

когда война калечила, косила

их сыновей...

1965

\* \* \*

Дорога — никуда:

грязь пополам со льдом,

а лошади — беда,

а лошадь бьют кнутом!..

Вот так всегда!

1965

\* \* \*

Из дома ненадолго улетела птица,

она и мой кумир, и мой удел.

Моя жена отправилась в больницу.

И сразу будто дом осиротел!..

1968

\* \* \*

Мороз, снега, суровые метели,

оранжевое солнце на заре.

Но что это такое, в самом деле,

весенняя Москва в канун апреля

или столица в лютом январе?!

1970

\* \* \*

Мой предок тыщу лет назад

на камне написал трактат.

Гляжу — и что меня дивит:

а где ж наскальный знак «Главлит»?

1970

\* \* \*

Я люблю ВИШНИ.

Я люблю воробья,

который клюет эти вишни.

Я люблю кошку,

которая охотится за этим воробьем.

1970

\* \* \*

Среди травы покошенной

полузабыт и гол,

грустит мой стол поношенный,

мой самодельный стол.

1971. Озёры

\* \* \*

Когда летит взбешенный шквал

и дыбит стонущее море,

когда гудит девятый вал

и гонит вспененные горы,

когда в густой, слепящей тьме

сверкают огненные стрелы,

как будто атом ошалелый

владыка в адской кутерьме,

когда свирепствует пожар

и ничему пощады нету,

как будто валится в тартар

твоя несчастная планета...

1973

\* \* \*

Я никогда, нигде не одинок:

Повсюду и всегда со мною Бог.

1975

\* \* \*

Номенклатура и вор —

близнецы - братья.

Кто из них больше

подпирает партструктуру?

Мы говорим: «Номенклатура» —

подразумеваем — вор,

мы говорим: «Вор» —

подразумеваем — номенклатура.

1980

НА М.А.СУСЛОВА

Ох, до чего же век твой долог,

кремлевской банды идеолог —

ее глава фактический,

вампир коммунистический.

1980

НА Л.И.БРЕЖНЕВА

Два важных чина —

Президента и Генсека —

несет баран

в костюме человека.

1980

НА А.П.КИРИЛЕНКО

Ты вроде бы пигмей Дэн Сяопин.

Но он умен, а ты, увы, кретин.

1981

\* \* \*

Ребенок бежит впереди себя.

Юноша сам себя обгоняет.

Человек средних лет шагает рядом с собой

Старик, шаркая подошвами,

еле плетется за собой

1981

\* \* \*

«Все для человека, все для блага человека»

Для меня, для меня, для меня

все товары отличного сорта,

для меня, для меня, для меня

спецбольницы и экстракурорты,

для меня, для меня, для меня

спецпродукты всегда, непременно,

словом, все для меня, как сияние дня,

чтоб жилось мне всегда сверхотменно.

Почему, почему?

Потому

что я красноклопиного класса,

потому, потому, потому

и гоняться за мною напрасно.

Предо мною — броня,

не ропщи на меня...

Есть немного, плебей, для тебя.

Для тебя, для тебя, для тебя,

остальная безликая масса,

для тебя...    (неоконченное)

1981

\* \* \*

Не горю, а догораю,

не живу, а доживаю.

Остается умереть,

а потом совсем истлеть.

1984

КОШКИНИАНА

\* \* \*

Уже ты прожила полвека,

и ненавидя, и любя.

Да, примечательная веха...

Чем мне порадовать тебя?

Ну чем? Ты заслужила, право,

подарок самый дорогой:

брильянт в невиданной оправе,

огромный слиток золотой.

Но не настолько я богатый,

об этом вовсе не тужу.

И в знаменательную дату

что говорил, то и скажу:

—    Благословен твой день рожденья —

неповторимый и земной,

в моем нелегком восхожденье

ты рядом, ты в пути со мной.

Не назову тебя любимой:

в избитом слове толка нет.

Ты просто мне необходима,

как воздух и как солнца свет.

Под тяжестью житейской горбясь,

согнулся б, может быть, в дугу.

Но предо мной кошачий образ —

не смею гнуться, не могу...

Мы чашу пьем одну с тобою,

так выпьем же ее до дна:

сладка, горька ли, но судьбою

нам предназначена она!

Итак, я тост провозглашау,

кошачий юбилейный тост:

—    Да будет вечно украшау

тебя усау и ушкмау,

клыкмау и пушистый хвост!

                Твау Котпу

1972

Уступая пожеланию издателей сборника стихов Александра Соболева, я немного коснусь той стороны жизни поэта, которая была наглухо закрыта для всех, кроме него и меня. Мне не хотелось приоткрывать дверь в наше с ним святая святых из-за боязни бьггь непонятой. А непонимание в этом случае звучало бы как оскорбление. И решилась заговорить о нашей «терра инкогнита» с одной лишь целью: чтобы стало понятно, как, живя на положении необъявленной персоны нон-грата в своем отечестве, униженный, оскорбленный, гонимый поэт не озлобился, не превратился в мрачного, угрюмого, ненавидящего мир субъекта.

Да, в жизни Александра Соболева было нечто такое, что сводило почти к нулю, нейтрализовывало неблагоприятные воздействия извне. В значительной мере именно благодаря этому до конца дней своих сохранил он жизнелюбие, оптимизм, уверенность в победе над «сонмищем врагов тупых и беспощадно зверских», любовь ко всему живому, к природе, детям, добрым людям.

Где был и что за источник, который питал такие чувства? Этот источник — часть нашего внутреннего мира, в котором скрытно от всех жили две «кошки», точнее — два человека с кошачьей сутью. Известно, кошка — существо независимое, «живет сама по себе и идет куда захочет».

Забавное перевоплощение, своего рода перемещение в мир, непохожий на неприветливый реальный мир человеческих отношений, в мир нежности, чистоты кошачьего изящества, игривости, мягкости, притворного коварства, наивности. В этом мире хорошо чувствовал себя две «кошки», которые ходили на задних лапах по-своему, по-кошачьи, изображали действия людей Конечно, это всегда было очень смешно. Само пребывани в нашем мире не мыслилось без улыбок. Оба мы вошл в милый сказочный мир незаметно для нас, но npи обоюдном согласии, настроенные «на одну волну», npи уникальном, необходимейшем при этом предельного взаимопонимании.

Мы отдыхали в этом мире, но не по «заданию» — давай, мол, отдохнем — переход в него был естественным, ну как если бы шла себе кошка и вдруг легла на травку посибаритничать. И самое важное состояло в том что в минуты ощущения себя в нашем мире неприветливый мир людей сразу, в одно мгновение, словно бы исчезал, улетучивался (так как чувствовать себя одновременно человеком и кошкой невозможно). А с ним все плохое, что он приносил.

В нашем «кошачьем» мире плохому не было места Вот один пример. Как-то раз утром (это было в Озерах) я увидела на рабочем столике Александра Владимировича лист бумаги с двумя строфами. Набросок сделанный так, с ходу, записал беспокоившее ощущение неожиданную мысль.

Вот уж старость моя по соседству, тянет северным ветерком.

Почему ж не расстанусь я с детством — несмышленыш, но с мудрым умом?..

У меня есть завидная слава, покорил я далекую высь.

Отчего же тоска, как отрава, каждый час омрачает мне жизнь?

Я промолчала. Что здесь можно было говорить — гладить по головке, успокаивать? Не помню, о чем мы разговаривали, что-то обсуждали или не обсуждали, но мы были вместе. А часа через три на листе бумаги появилось еще одно четверостишие. Но какое! Написавший его был в отличном настроении, бодр, готов подурачиться. От уныния не осталось и следа.

Чтой-то я заболтался немножко, и не то я чегой-то несу.

У меня есть отличная кошка, я ее на Олимп вознесу.

Конечно, эти стихи не для сборника. Но они подтверждают, нет, не подтверждают, а просто иллюстрируют то, о чем я здесь рассказываю.

Александр Владимирович писал мне смешные «кошачьи» стихи. Я приведу два небольших стихотворения с тем, чтобы стало ясно, сколько нежности и теплоты, наивной хитрости и забавы таил в себе наш мир, в котором жила нестареющая «кошка» в двух лицах.

Моя маленькая кошка, я люблю тебя немножко.

Я отрежу твои ушки и отправлю в печь для сушки.

Я отрежу твои лапки и сошью мышатам шапки.

Я возьму тебя на ручки вместо дочки, вместо внучки.

Как зовут тебя, спрошу, мигом хвостик откушу.

И хотя это приношение сделано было мне, женщине хорошо за пятьдесят, адресовано оно живущей во мне вечно юной «кошке». Или такие строки:

Вставай, котенок полусонный, декабрьский наступил рассвет.

Сегодня ты новорожденный, тебе от роду сколько лет?

Два когтя и еще немножко, тут вовсе ни при чем года.

Когда ты станешь взрослой кошкой? Когда? Наверно, никогда.

На то есть колдовское средство, его лишь знаем ты да я.

Пребудет с нами наше детство от точки «а» до точки «я».

He помню, по какому поводу затеяла я забавны! рассказ о нашей жизни в рисунках, своего рода многосерийный мультфильм. Обычные персонажи в ни: были Большой Кот и Маленькая Кошка, оба вместе или поодиночке, в зависимости от сюжета. Большой Кот изображался толстым, чаще добродушным, доверчивым. Маленькая Кошка была беспородная, тощая, шилохвостая, с острой мордочкой, вреднющая и проказливая. Но именно в таком обличье — беспредельно любимая Большим Котом.

Я не художница. Рисовать по-настоящему не умею Между тем мои контурные кошки, непрофессионально нарисованные, очевидно, отличались выразительностью и, редко кому показанные или случайно кем-то увиденные, неизменно вызывали смех или, как малое, улыбку. Потом) что в них была добрая насмешка, озорство, нередко желание подразнить Большого Кота, то есть поэта Александра Соболева.

Совершенно неожиданно для меня он так полюби/ мои рисунки, что заявил однажды вполне серьезно: «Это — самое замечательное из созданного нами вместе». Имел в виду, естественно, наш «кошачий» мир.

И торжественно назвал все рисунки с кошками — Кошкинианой.

Татьяна Соболева

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ Бухенвальдский набат. Строки-арестанты

Редактор И.Л.Макаршина Компьютерная верстка И .Л.Макаршина,

В.Р.Нахманович

Корректор

Н.Ю.Матякина

АР № 030484 от 26.01.93 Сдано в набор 01.02.96. Подл, к печати-07.10.96. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура Academia. Уел. печ. л. 14,28. Тираж 2000 экз. Тип. зак. № 5'1+5 Московская типография № 2 РАН. 121099 Москва, Шубинский пер., 6.